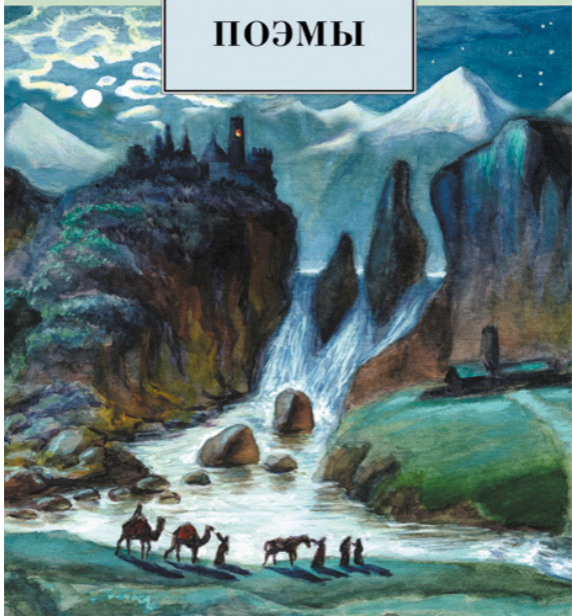


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



М. Ю. Лермонтов

ПОЭМЫ



Поэмы //, М.

ISBN: 978-5-08-004635-3

FB2: Your Name, 29 August 2017, version 1.0

UUID: a2c3ef11-871b-11e7-a9a5-0cc47a5453d6

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Михаил Юрьевич Лермонтов

Поэмы

(Школьная библиотека (Детская литература))

В книгу вошли поэмы и повести в стихах великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, изучаемые по программе средней общеобразовательной школы. Издание дополняют статьи В. Г. Белинского и П. А. Висковатова о жизни и творчестве поэта.

Для старшего школьного возраста.

Содержание

#1	0005
#2	0007
Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова	0007
Тамбовская казначейша	0039
Демон Восточная повесть	0075
#1	0076
Часть I	0076
Часть II	0095
Мцыри	0126
Кавказский пленник	0160
#1	0161
Часть первая	0161
Часть вторая	0177
Последний сын вольности Повесть	0190
Сашка Нравственная поэма	0228
Ашик-Кериб Турецкая сказка	0335
Приложения	0353
В. Г. Белинский. Стихотворения М. Лермонтова С.-Петербург. 1840 (Фрагменты)	0353
П. А. Висковатов. «Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество» (Фрагменты)	0385
Комментарии	0403

Михаил Юрьевич Лермонтов

Поэмы

© Стуковнин В., иллюстрации, 2002
© Оформление серии, составление,
комментарии. Издательство «Детская литера-
тура», 2002

* * *



М. Сергеевич

1814—1841

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова



Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!

Про тебя нашу песню сложили
мы,
Про твоего любимого опричника
Да про смелого купца, про Калаш-
никова;
Мы сложили ее на старинный
лад,
Мы певали ее под гусллярный звон
И причитывали да присказывали.
Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодановский
Нам чарку поднес меду пенного,
А боярыня его белолица
Поднесла нам на блюде серебря-
ном
Полотенце новое, шелком шитое.
Угощали нас три дни, три ночи
И всё слушали – не наслушались.

I

Не сияет на небе солнце красное,
Не любятся им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом
венце,
Сидит грозный царь Иван Васи-
льевич.
Позади его стоят стольники,
Супротив его всё бояре да князья,



*По бокам его всё опричники;
И пирует царь во славу Божию,
В удовольствие свое и веселие.*

*Улыбаясь, царь повелел тогда
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш
И поднести его опричникам.
И все пили, царя славил.*

*Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов;
Опустил он в землю очи темные,
Опустил головушку на широку*

грудь —
А в груди его была дума крепкая.

Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты
небес
На молодого голубя сизокрылого,
—
Да не поднял глаз молодой боец.

Вот об землю царь стукнул пал-
кою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечни-
ком —
Да не вздрогнул и тут молодой
боец.
Вот промолвил царь слово гроз-
ное —
И очнулся тогда добрый молодец.

«Гей ты, верный наш слуга, Кири-
беевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная приску-
чила?»



Когда всходит месяц – звезды радуются,

Что светлей им гулять по под-
нёбесью;
А которая в тучку прячется,
Та стремглав на землю падает...
Неприлично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гнушались;
А из роду ты ведь Скуратовых,
И семьею ты вскормлен Малюти-
ной!..»

Отвечает так Кирибеевич,
Царю грозному в пояс кланяясь:

«Государь ты наш, Иван Василье-
вич!
Не кори ты раба недостойного:
Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную – не запотчевать!
А прогневал я тебя – воля цар-
ская:
Прикажи казнить, рубить голову,
Тяготит она плечи богатырские,
И сама к сырой земле она клонит-
ся».

И сказал ему царь Иван Василье-
вич:
«Да об чем тебе, молодцу, кручи-

ниться?

Не истерся ли твой парчевой кафтан?

Не измялась ли шапка соболиная?

Не казна ли у тебя поистратилась?

Иль зазубрилась сабля закаленная?

Или конь захромал, худо кованный?

Или с ног тебя сбил на кулачном бою,

На Москве-реке, сын купеческий?»

Отвечает так Кирибеевич,
Покачав головою кудрявою:

«Не родилась та рука заколдованная

Ни в боярском роду, ни в купеческом;

Аргамак мой степной ходит весело;

Как стекло горит сабля вострая;

А на праздничный день твоей милостью

Мы не хуже другого нарядимся.

Как я сяду-поеду на лихом коне

За Москву-реку покатаются,
Кушачком подтянутся шелковым,
Заломлю набочок шапку бархат-
ную,
Черным соболем отороченную, —
У ворот стоят у тесовых
Красны девушки да молодухи
И любятся, глядя, перешепты-
ваясь;
Лишь одна не глядит, не любит-
ся,
Полосатой фатой закрывается...

На святой Руси, нашей матушке,
Не найти, не сыскать такой кра-
савицы:
Ходит плавно – будто лебедушка;
Смотрит сладко – как голубуш-
ка;
Молвит слово – соловей поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе Божием;
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою целуются.
Во семье родилась она купеческой,
Прозывается Аленой Дмитрев-

ной.

Как увижу ее, я и сам не свой:
Опускаются руки сильные,
Помрачаются очи бойкие;
Скучно, грустно мне, православ-
ный царь,
Одному по свету маяться.
Опостыли мне кони легкие,
Опостыли наряды парчовые,
И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь те-
перь?
Перед кем покажу удалство
свое?
Перед кем я нарядом похваста-
юсь?
Отпусти меня в степи приволж-
ские,
На житье на вольное, на казац-
кое.
Уж сложу я там буйную головуш-
ку
И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаро-
вья
Коня доброго, саблю острую
И седельце браное черкасское.

Мои очи слезные коршун выключит,
Мои кости сирые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах
На четыре стороны развеется!..»

И сказал, смеясь, Иван Васильевич:
«Ну, мой верный слуга! я твоей беде,
Твоему горю пособить постараюсь.
Вот возьми перстенок ты мой яхонтовый
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахе смышленной поклоняйся
И пошли дары драгоценные
Ты своей Алене Дмитриевне.
Как полюбишься – праздную свадьбу,
Не полюбишься – не прогневайся».

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,

*Не поведал тебе, что красавица
В церкви Божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом
По закону нашему христианско-
му.*

** * **

*Ай, ребята, пойте – только гусли
стройте!
Ай, ребята, пейте – дело разуме-
йте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!*

II

*За прилавкою сидит молодой ку-
пец,
Статный молодец Степан Пара-
монович,
По прозванию Калашников;
Шелковые товары раскладывает,
Речью ласковой гостей он замани-
вает,
Злато, серебро пересчитывает.
Да недобрый день задался ему:
Ходят мимо баре богатые,
В его лавочку не заглядывают.*

Отзвонили вечерню во святых
церквах;
За Кремлем горит заря туман-
ная;
Набегают тучки на небо, —
Гонит их метелица распеваячи;
Опустел широкий гостиный двор.
Запирает Степан Парамонович
Свою лавочку дверью дубовую
Да замком немецким со пружи-
ною;
Злого пса-ворчуна зубастого
На железную цепь привязывает,
И пошел он домой, призадумав-
шись,
К молодой хозяйке за Москву-реку.

И приходит он в свой высокий
дом,
И дивится Степан Парамонович:
Не встречает его молода жена,
Не накрыт дубовый стол белой
скатертью,
А свеча перед образом еле теп-
лится.
И кличет он старую работницу:
«Ты скажи, скажи, Еремеевна,
А куда девалась, затаилась

В такой поздний час Алена Дмитревна?

*А что детки мои любезные —
Чай, забегались, заигрались,
Спозаранку спать уложились?»*

*«Господин ты мой, Степан Парамонович,
Я скажу тебе диво дивное:
Что к вечерне пошла Алена
Дмитревна;
Вот уж поп прошел с молодой по-
падьей,
Засветили свечу, сели ужинать,
—*

*А по сю пору твоя хозяйюшка
Из приходской церкви не вернула-
ся.*

*А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть по-
шли —
Плачем плачут, всё не унимают-
ся».*

*И смутился тогда думой креп-
кою
Молодой купец Калашников;
И он стал к окну, глядит на улицу*

—
А на улице ночь темнехонька;
Валит белый снег, расстилагается,
Замечает след человеческий.

Вот он слышит, в сенях дверью
хлопнули,
Потом слышит шаги торопли-
вые;
Обернулся, смотрит – сила крест-
ная! —
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые расплетенные
Снегом-инеем пересыпаны;
Смотрят очи мутные как безум-
ные;
Уста шепчут речи непонятные.

«Уж ты где, жена, жена, шатала-
ся?
На каком подворье, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одёжа твоя вся изорвана?
Уж гуляла ты, пиновала ты,
Чай, с сынками все боярскими!..
Не на то пред святыми иконами
Мы с тобой, жена, обручались,

Золотыми кольцами менялись!..
Как запру я тебя за железный замо́к,
За дубовую дверь окованную,
Чтобы свету Божьего ты не видела,
Мое имя честное не порочила...»

И, услышав то, Алена Дмитриевна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась как листочек осино-
вый,
Горько-горько она восплакалась,
В ноги мужу повалилася.

«Государь ты мой, красно сол-
нышко,
Иль убей меня, или выслушай!
Твои речи – будто острый нож;
От них сердце разрывается.
Не боюсь смерти лютыя,
Не боюсь я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.

От вечерни домой шла я нонече
Вдоль по улице одинешенька.
И послышалось мне, будто снег
хрустит;

Оглянулась – человек бежит.
Мои ноженьки подкосились,
Шелковой фатой я закрылась.
И он сильно схватил меня за руки
И сказал мне так тихим шепотом:

«Что пугаешься, красная красавица?

Я не вор какой, душегуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного,
Прозываюся Кирибеевичем,
А из славной семьи из Малютинной...»

Испугалась я пуще прежнего;
Закружилась моя бедная головушка.

И он стал меня целовать-ласкать

И, цалуя, все приговаривал:
«Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней аль цветной парчи?

Как царицу я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать,
Лишь не дай мне умереть смертью грешною:

*Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!»*

*И ласкал он меня, целовал меня;
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцалуи его окаянные...
А смотрели в калитку соседушки,
Смеючись, на нас пальцем показы-
вали...*

*Как из рук его я рванулася
И домой стремглав бежать бро-
силась;
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок, твой пода-
рочек,
И фата моя бухарская.*

*Опозорил он, осрамил меня,
Меня честную, непорочную, —
И что скажут злые соседушки,
И кому на глаза покажусь те-
перь?*

*Ты не дай меня, свою верную же-
ну,
Злым охульникам в поругание!*



*На кого, кроме тебя, мне наде-
яться?
У кого просить стану помощи?
На белом свете я сиротинушка:*

Родной батюшка уж в сырой земле,
Рядом с ним лежит моя матушка,
А мой старший брат, сам ты ведаешь,
На чужой сторонушке пропал без вести,
А меньшей мой брат – дитя малое,
Дитя малое, неразумное...»

Говорила так Алена Дмитриевна,
Горючьми слезами заливалась.

Посылает Степан Парамонович
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонились
И такое слово ему молвили:
«Ты поведай нам, старшой наш брат,
Что с тобой случилось, приключилось,
Что послал ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь морозную?»

«Я скажу вам, братцы любезные,
Что лиха беда со мною приключи-
лася:

Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский Кирибее-
вич;

А такой обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу молодецко-
му.

Уж как завтра будет кулачный
бой

На Москве-реке при самом царе,
И я выйду тогда на опричника,
Буду насмерть биться, до послед-
них сил;

А побьет он меня – выходите вы
За святую правду-матушку.

Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежэй силою,
На вас меньше грехов накопилось,
Так авось Господь вас помилует!»

И в ответ ему братья молвили:
«Куда ветер дует в поднёбесьи,
Туда мчатся и тучки послушные,
Когда сизый орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов

убирать,
К нему малые орлята слетают-
ся.
Ты наш старший брат, нам вто-
рой отец;
Делай сам, как знаешь, как веда-
ешь,
А уж мы тебя, родного, не выда-
дим».

* * *

Ай, ребята, пойте – только гусли
стройте!
Ай, ребята, пейте – дело разуме-
йте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

III

Над Москвой великой, златогла-
вою,
Над стеной кремлевской белока-
менной
Из-за дальних лесов, из-за синих
гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;

Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальце,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалась?
На какой ты радости разыгралась?

Как сходились, собирались
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в двадцать пять сажень,
Для охотницкого бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич

Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего ба-
тюшку!
Выходите-ка во широкий круг;
Кто побьет кого, того царь на-
градит;
А кто будет побит, тому Бог
простит!»

И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидает с могучих плеч шубу бар-
хатную,
Подпершился в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе противника...
Трижды громкий клич проклика-
ли —
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга потал-
кивают.

На просторе опричник похажива-
ет,
Над плохими бойцами подсмеива-
ет:
«Присмирели, небойсь, призадума-

лись!
Так и быть, обещаюсь, для праздни-
ка,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего ба-
тюшку».

Вдруг толпа раздалась в обе сто-
роны —
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников.
Поклонился прежде царю грозно-
му,
После белому Кремлю да святым
церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрит при-
стально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.

И сказал ему Кирибеевич:
«А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого роду-племени,

Каким именем прозываешься?
Чтобы знать, по ком панихиду
служить,
Чтобы было чем и похвастать-
ся».

Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калаш-
никовым,
А родился я от честнова отца,
И жил я по закону Господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного...
И промолвил ты правду истин-
ную:
По одном из нас будут панихиду
петь,
И не позже как завтра в час полу-
денный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи...
Не шутку шутить, не людей сме-
шить
К тебе вышел я теперь, бусурман-
ский сын, —
Вышел я на страшный бой, на по-
следний бой!»

*И, услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний
снег;
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал
мороз,
На раскрытых устах слово замер-
ло...*

*Вот молча оба расходятся, —
Богатырский бой начинается.*

*Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил впервой купца Калашни-
кова,
И ударил его посередь груди —
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамоно-
вич;
На груди его широкой висел мед-
ный крест
Со святыми мощами из Киева, —
И погнулся крест и вдавился в
грудь;
Как роса из-под него кровь закапа-
ла;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбуй-*

дется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, приготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.

И опричник молодой застонал
слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.
И, увидев то, царь Иван Васильевич
Прогневался гневом, топнул о землю
И нахмурил брови черные;
Повелел он схватить удалова купца
И привести его пред лицо свое.

Как возгóворил православный царь,
«Отвечай мне по правде, по сове-

сти,
Вольной волею или нехотя
Ты убил насмерть мово верного
слугу,
Мово лучшего бойца Кирибееви-
ча?»

«Я скажу тебе, православный
царь,
Я убил его вольной волею,
А за что, про что – не скажу тебе,
Скажу только Богу единому.
Прикажи меня казнить – и на
плаху несть
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову
Да двух братьев моих своей мило-
стью...»

«Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по сове-
сти.
Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же
дня

По всему царству Русскому широ-
кому

Торговать безданно, беспошлин-
но.

А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю наточить-наост-
рить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу зво-
нить,
Чтобы знали все люди москов-
ские,
Что и ты не оставлен моей ми-
лостью...»

Как на площади народ собирает-
ся,

Заунывный гудит-воет колокол,
Разглашает всюду весть недоб-
рую.

По высокому месту лобному
Во рубахе красной с яркой запон-
кой,
С большим топором наострен-
ным,
Руки голые потираючи,

Палач весело похаживает,
Удалова бойца дожидается, —
А лихой боец, молодой купец,
Со родными братьями прощается:

«Уж вы, братцы мои, други кровные,
Поцалуемтесь да обнимемтесь
На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алене
Дмитревне,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не ска-
зывать;
Поклонитесь дому родительско-
му,
Поклонитесь всем нашим това-
рищам,
Помолитесь сами в церкви Божи-
ей
Вы за душу мою, душу грешную!»

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка бесталанная
Во крови на плаху покатила.

Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле промеж трех до-
рог:

Промеж Тульской, Рязанской, Вла-
димирской,

И бугор земли сырой тут насыпа-
ли,

И кленовый крест тут постави-
ли.

И гуляют-шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою.

И проходят мимо люди добрые:

Пройдет стар человек – перекре-
стится,

Пройдет молодец – приосанится,

Пройдет девица – пригорюнится,

А пройдут гусяры – споют песен-
ку.

* * *

Гей вы, ребята удалые,

Гусяры молодые,

Голоса заливные!

Красно начинали – красно и кон-
чайте,

Каждому правдою и честью воз-
дайте.

Тороватому боярину слава!

*И красавице боярыне слава!
И всему народу христианскому
слава!*



Тамбовская казначейша

*Играй, да не отыгрывайся.
Пословица*



ПОСВЯЩЕНИЕ

Пускай слыву я старовером,



Мне все равно – я даже рад:
Пишу Онегина размером;
Пою, друзья, на старый лад.
Прошу послушать эту сказку!
Ее нежданную развязку
Одобрите, быть может, вы
Склоненьем легким головы.
Обычай древний наблюдая,
Мы благодетельным вином
Стихи негладкие запьем,
И пробегут они, хромя,
За мирною своей семьей
К реке забвенья на покой.

Тамбов на карте генеральной
Кружком означен не всегда;
Он прежде город был опальный,
Теперь же, право, хоть куда.
Там есть три улицы прямые,
И фонари, и мостовые,
Там два трактира есть, один
«Московский», а другой «Берлин».
Там есть еще четыре будки,
При них два будочника есть;
По форме отдают вам честь,
И смена им два раза в сутки;

Короче, славный городок.

II

Но скука, скука, Боже правый,
Гостит и там, как над Невой,
Поит вас пресною отравой,
Ласкает черствою рукой.
И там есть чопорные франты,
Неумолимые педанты,
И там нет средства от глупцов
И музыкальных вечеров;
И там есть дамы – просто чудо!
Дианы строгие в чепцах,
С отказом вечным на устах.
При них нельзя подумать худо:

*В глазах греховное прочтут
И вас осудят, проклянут.*

III

*Вдруг оживился круг дворянский;
Губернских дев нельзя узнать;
Пришло известье: полк уланский
В Тамбове будет зимовать.
Уланы, ах! такие хваты...
Полковник, верно, неженатый —
А уж бригадный генерал,
Конечно, даст блестящий бал.
У матушек сверкнули взоры;
Зато, несносные скупцы,
Неумолимые отцы
Пришли в раздумье: сабли, шпоры
Беда для крашенных полов...
Так волновался весь Тамбов.*

IV

*И вот однажды утром рано,
В час лучший девственного сна,
Когда сквозь пелену тумана
Едва проглядывает Цна,
Когда лишь куполы собора
Роскошно золотит Аврора
И, тишины известный враг,
Еще безмолвствовал кабак,*



Уланы справа по шести
Вступили в город; музыканты,
Дремля на лошадях своих,
Играли марш из «Двух слепых».

V

Услыша ласковое ржанье
Желанных вороных коней,
Чье сердце, полное вниманья,
Тут не запрыгало сильнее?
Забыта жаркая перина...
«Малашка, дура, Катерина,
Скорее туфли и платок!
Да где Иван? Какой мешок!
Два года ставни отворяют...»
Вот ставни настезь. Целый дом
Трет стекла тусклые сукном —
И любопытно пробегают
Глаза опухшие девиц
Ряды суровых, пыльных лиц.

VI

«Ах, посмотри сюда, кухня,
Вот этот!» – «Где? майор?» – «О
нет!
Как он хорош, а конь – картина,
Да жаль, он, кажется, корнет...
Как ловко, смело избочился...

*Поверишь ли, он мне приснился...
Я после не могла уснуть...»
И тут девическая грудь
Косынку тихо поднимает —
И разыгравшейся мечтой
Слегка темнится взор живой.
Но полк прошел. За ним мелькает
Толпа мальчишек городских,
Немытых, шумных и босых.*

VII

*Против гостиницы «Московской»,
Притона буйных усачей,
Жил некто господин Бобковской,
Губернский старый казначей.
Давно был дом его построен;
Хотя невзрачен, но спокоен;
Меж двух облупленных колонн
Держался кое-как балкон.
На кровле треснувшие доски
Зеленым мохом поросли;
Зато пред окнами цвели
Четыре стриженных березки
Взамен гардин и пышных стор,
Невинной роскоши убор.*

VIII

Хозяин был старик угрюмый
С огромной лысой головой.
От юных лет с казенной суммой
Он жил как с собственной казной.
В пучинах сумрачных расчета
Блуждать была ему охота,
И потому он был игрок
(Его единственный порок).
Любил налево и направо
Он в зимний вечер прометнуть,
Четвертый куш перечеркнуть,
Рутёркой понтирнуть со славой,
И талью скверную порой
Запить цимлянского струей.

IX

Он был врагом трудов полезных,
Трибун тамбовских удалцов,
Гроза всех матушек уездных
И воспитатель их сынков.
Его краплёные колоды
Не раз невинные доходы
С индеек, масла и овса
Вдруг пожирали в полчаса.
Губернский врач, судья, исправник
—
Таков его всегдашний круг;
Последний был делец и друг

*И за столом такой забавник,
Что казначейша иногда
Сгорит, бывало, от стыда.*

X

*Я не поведал вам, читатель,
Что казначей мой был женат.
Благословил его Создатель,
Послав ему в супруге клад.
Ее ценил он тысяч во сто,
Хотя держал довольно просто
И не выписывал цепцов
Ей из столичных городов.
Предав ей таинства науки,
Как бросить вздох иль томный
взор,
Чтоб легче влюбчивый понтер
Не разглядел проворной штуки.
Меж тем догадливый старик
С глаз не спускал ее на миг.*

XI

*И впрямь Авдотья Николавна
Была прелакомый кусок.
Идет, бывало, гордо, плавно —
Чуть тронет землю башмачок;
В Тамбове не запомнят люди
Такой высокой, полной груди:*

*Бела как сахар, так нежна,
Что жилка каждая видна.
Казалось, для нежной страсти
Она родилась. А глаза...
Ну, что такое бирюза?
Что небо? Впрочем, я отчасти
Поклонник голубых очей
И не гожусь в число судей.*

XII

*А этот носик! эти губки,
Два свежих розовых листка!
А перламутровые зубки,
А голос сладкий, как мечта!
Она картавя говорила,
Нечисто «р» произносила;
Но этот маленький порок
Кто извинить бы в ней не мог?
Любил трепать ее ланиты,
Разнежась, старый казначей.
Как жаль, что не было детей
У них! — — — —*

XIII

*Для бóльшей ясности романа
Здесь объявить мне вам пора,*

Что страстно влюблена в улана
Была одна ее сестра.
Она, как должно, тайну эту
Открыла Дуне по секрету.
Вам не случилось двух сестер
Замужних слышать разговор?
О чем тут, Боже справедливый,
Не судят милые уста!
О, русских нравов простота!
Я, право, человек нелживый —
А из-за ширмов раза два
Такие слышал я слова...

XIV

Итак, тамбовская красотка
Ценить умела уж усы

Что ж? знание ее сгубило!
Один улан, повеса милый
(Я вместе часто с ним бывал),
В трактире номер занимал
Окно в окно с ее уборной.
Он был мужчина в тридцать
лет;
Штаб-ротмистр, строен, как
корнет;
Взор пылкий, ус довольно черный,

*Короче, идеал девиц,
Одно из славных русских лиц.*

XV

*Он все отцовское именье
Еще корнетом прокутил;
С тех пор дарами провиденья,
Как птица Божия, он жил,
Он спать, лежать привык; не ве-
дать,
Чем будет завтра пообедать.
Шатаясь по Руси кругом,
То на курьерских, то верхом,
То полупьяным ремонтёром,
То волокитой отпускным,
Привык он к случаям таким,
Что я бы сам почел их вздором,
Когда бы все его слова
Хоть тень имели хвастовства.*

XVI

*Страстьми земными не смуща-
ем,
Он не терялся никогда.*

*Бывало, в деле, под карточью
Всех рассмешит надутой речью,*

*Гримасой, фарсой площадной
Иль неподдельной остротой.
Шутя однажды после спора
Всадил он другу пулю в лоб;
Шутя и сам он лег бы в гроб —*

*Порой незлобен, как дитя,
Был добр и честен, но шутя.*

XVII

*Он не был тем, что волокитой
У нас привыкли называть;
Он не ходил тропой избитой,
Свой путь умея пролагать;
Не делал страстных изъяснений,
Не становился на колени;
А несмотря на то, друзья,
Счастливей был, чем вы и я.*

*Таков-то был штаб-ротмистр
Гарин:
По крайней мере, мой портрет
Был схож тому назад пять лет.*

XVIII

Спешил о редкостях Тамбова

Он у трактирщика узнать.
Узнал немало он смешного —
Интриг секретных шесть или
пять;
Узнал, невесты как богаты,
Где свахи водятся иль сваты;
Но занял более всего
Мысль беспокойную его
Рассказ о молодой соседке.
«Бедняжка! – думает улан, —
Такой безжизненный болван
Имеет право в этой клетке
Тебя стеречь – и я, злодей,
Не тронусь участью твоей?»

XIX

К окну поспешно он садится,
Надев персидский архалук;
В устах его едва дымится
Узорный бисерный чубук.
На кудри мягкие надета
Ермолка вишневого цвета
С каймой и кистью золотой,
Дар молдаванки молодой.
Сидит и смотрит он прилежно...
Вот, промелькнувши как во мгле,
Обрисовался на стекле
Головки милой профиль нежный;

*Вот будто стукнуло окно...
Вот отворяется оно.*

XX

*Еще безмолвен город сонный;
На окнах блещет утра свет;
Еще по улице мощеной
Не раздаётся стук карет...
Что ж казначейшу молодую
Так рано подняло? Какую
Назвать причину поверней?
Уж не бессонница ль у ней?
На ручку опершись головкой,
Она вздыхает, а в руке
Чуллок; но дело не в чулке —
Заняться этим нам неловко...
И если правду уж сказать —
Ну кстати ль было б ей вязать!*

XXI

*Сначала взор ее прелестный
Бродил по синим небесам,
Потом склонился к поднебесной
И вдруг... какой позор и срам!
Напротив, у окна трактира,
Сидит мужчина без мундира.
Скорей, штаб-ротмистр! ваш
сюртук!*

*И поделом... окошко стук...
И скрылось милое виденье.
Конечно, добрые друзья,
Такая грустная статья
На вас навеяла б смущенье;
Но я отдам улану честь —
Он молвил: «Что ж? начало
есть».*

XXII

*Два дня окно не отворялось.
Он терпелив. На третий день
На стеклах снова показалась
Ее пленительная тень;
Тихонько рама заскрипела.
Она с чулком к окну подсела.
Но опытный заметил взгляд
Ее заботливый наряд.
Своей удачею довольный,
Он встал и вышел со двора —
И не вернулся до утра.
Потом, хоть было очень больно,
Собрав запас душевных сил,
Три дня к окну не подходил.*

XXIII

*Но эта маленькая ссора
Имела участь нежных ссор:*

Меж них завелся очень скоро
Немой, но внятнЫй разговор.
Язык любви, язык чудесный,
Одной лишь юности известный,
Кому, кто раз хоть был любим,
Не стал ты языком родным?
В минуту страстного волненья
Кому хоть раз ты не помог
Близ милых уст, у милых ног?
Кого под игом принужденья,
В толпе завистливой и злой,
Не спас ты, чудный и живой?

XXIV

Скажу короче: в две недели
Наш Гарин твердо мог узнать,
Когда она встает с постели,
Пьет с мужем чай, идет гулять.
Отправится ль она к обедне —
Он в церкви, верно, не последний;
К сырой колонне прислонясь,
Стоит все время не крестясь.
Лучом краснеющей лампы
Его лицо озарено:
Как мрачно, холодно оно!
А испытующие взгляды
То вдруг померкнут, то блещут

Проникнуть в грудь ее хотят.

XXV

Давно разрешено сомненье,
Что любопытен нежный пол.
Улан большое впечатленье
На казначейшу произвел
Своею странностью. Конечно,
Не надо было б мысли грешной
Дорогу в сердце пролагать,
Ее бояться и ласкать!

Жизнь без любви такая сквер-
ность;
А что, скажите, за предмет
Для страсти муж, который сед?

XXVI

Но время шло. «Пора к развязке!»

—

Так говорил любовник мой. —
Вздыхают молча только в сказке,
А я не сказочный герой».
Раз входит, кланяясь пренизко,
Лакей. «Что это?» — «Вот-с запис-
ка;

Вам барин кланяться велел-с;
Сам не приехал – много дел-с;
Да приказал вас звать к обеду,
А вечерком потанцевать.
Он сам изволил так сказать». —
«Ступай, скажи, что я приеду».
И в три часа, надев колет,
Летит штаб-ротмистр на обед.

XXVII

Амфитрион был предводитель —
И в день рождения жены,
Порядка ревностный блюсти-
тель,
Созвал губернские чины
И целый полк. Хотя бригадный
Заставил ждать себя изрядно
И после целый день зевал,
Но праздник в том не потерял.
Он был устроен очень мило:
В огромных вазах по столам
Стояли яблоки для дам;
А для мужчин в буфете было
Еще с утра принесено
В больших трех ящиках вино.

XXVIII

Вперед под ручку с генеральшей

Пошел хозяин. Вот за стол
Уселся от мужчин подальше
Прекрасный, но стыдливый пол —
И дружно загремел с балкона,
Средь утешительного звона
Тарелок, ложек и ножей,
Весь хор уланских трубачей —
Обычай древний, но прекрасный;
Он возбуждает аппетит,
Порою кстати заглушит
Меж двух соседей говор страст-
ный —
Но в наше время решено,
Что все старинное смешно.

XXIX

Родов, обычаев боярских
Теперь и следу не ищи,
И только на пирах гусарских
Гремят, как прежде, трубачи.
О, скоро ль мне придется снова
Сидеть среди кружка родного
С бокалом влаги золотой
При звуках песни полковой!
И скоро ль ментиков червонных
Приветный блеск увижу я,
В тот серый час, когда заря
На строй гусаров полусонных

*И на бивак их у леска
Бросает луч исподтишка!*

XXX

*С Авдотьей Николавной рядом
Сидел штаб-ротмистр удалой —
Впился в нее упрямым взглядом,
Крутя усы одной рукой.
Он видел, как в ней сердце билось...
И вдруг – не знаю, как случилось,*

*Ноги ее иль башмачка
Коснулся шпорой он слегка.
Тут начались извиненья
И завязался разговор;
Два комплимента, нежный взор*

*И уж дошло до изъясненья...
Да, да – как честный офицер!
Но казначейша – не пример.*

XXXI

*Она, в ответ на нежный шепот,
Немой восторг спеша сокрыть,
Невинной дружбы тяжкий опыт
Ему решила предложить —
Таков обычай деревенский!
Помучить – способ самый жен-*

ский.

Но уж давно известна нам
Любовь друзей и дружба дам!
Какое адское мученье
Сидеть весь вечер tête-à-tête
С красавицей в осьмнадцать лет

XXXII

Вобщем я мог в году последнем
В девицах наших городских
Заметить страсть к воздушным
бредням
И мистицизму. Бойтесь их!
Такая мудрая супруга,
В часы любовного досуга,
Вам вдруг захочет доказать,
Что два и три совсем не пять;
Иль вместо пламенных лобзаний
Магнетизировать начнет —
И счастлив муж, коли заснет!..
Плоды подобных замечаний,
Конечно б, мог не ведать мир,
Но польза, польза мой кумир.

XXXIII

Я бал описывать не стану,
Хоть это был блестящий бал.
Весь вечер моему улану
Амур прилежно помогал.
Увы — — — — —
Не веруют амуру ныне;
Забыв любви волшебный царь;
Давно остыл его алтарь!
Но за столичным просвещеньем
Провинциалы не спешат;
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

XXXIV

И сердце Дуни покорилось;
Его сковал могучий взор...
Ей дома целу ночь все снилось
Бряцанье сабли или шпор.
Поутру, встав часу в девятом,
Садится в шлафоре измятом
Она за вечную канву —
Все тот же сон и наяву.
По службе занят муж ревнивый,
Она одна – разгул мечтам!
Вдруг дверью стукнули. «Кто
там?»

Андрюшка! Ах, тюлень лени-
вый!..»

Вот чей-то шаг – и перед ней
Явился... только не Андрей.

XXXV

Вы отгадаете, конечно,
Кто этот гость нежданный был.
Немного, может быть, поспешно
Любовник смелый поступил;
Но, впрочем, взявши в рассмотре-
нье

Его минувшее терпенье
И рассудив, легко поймешь,
Зачем рискует молодежь.
Кивнув легонько головою,
Он к Дуне молча подошел
И на лицо ее навел
Взор, отуманенный тоскою;
Потом стал длинный ус кру-
тить,
Вздыхнул и начал говорить:

XXXVI

«Я вижу, вы меня не ждали —
Прочесть легко из ваших глаз;
Ах, вы еще не испытали,
Что в страсти значит день, что

час!
Среди сердечного волненья
Нет сил, нет власти, нет терпе-
нья!
Я здесь – на все решился я...
Тебе я предан... ты моя!
Ни мелочные толки света,
Ничто, ничто не страшно мне;
Презренье светской болтовне —
Иль я умру от пистолета...
О, не пугайся, не дрожи;
Ведь я любим – скажи, скажи!..»

XXXVII

И взор его притворно скромный,
Склоняясь к ней, то угасал,
То, разгораясь страстью томной,
Огнем сверкающим пылал.
Бледна, в смущенье оставалась
Она пред ним... Ему казалось,
Что чрез минуту для него
Любви наступит торжество...
Как вдруг внезапный и невольный
Стыд овладел ее душой —
И, вспыхнув вся, она рукой
Толкнула прочь его: «Довольно,
Молчите – слышать не хочу!
Оставьте ль? я крикну!..»

XXXVIII

Он смотрит: это не притворство,
Не шутки – как ни говори, —
А просто женское упорство,
Капризы – черт их побери!
И вот – о, верх всех унижений! —
Штаб-ротмистр преклонил колени
И молит жалобно; как вдруг
Дверь настезь – и в дверях супруг.
Красотка: «Ах!» Они взглянули
Друг другу сумрачно в глаза;
Но молча разнеслась гроза,
И Гарин вышел. Дома пули
И пистолеты снарядил,
Присел – и трубку закурил.

XXXIX

И через час ему приносит
Записку грязную лакей.
Что это? чудо? Нынче просит
К себе на вистик казначей,
Он именинник – будут гости...
От удивления и злости
Чуть не задохся наш герой.
Уж не обман ли тут какой?
Весь день проводит он в волненье.

*Настал и вечер наконец,
Глядит в окно: каков хитрец —
Дом полон, что за освещенье!
А все засунуть – или нет? —
В карман на случай пистолет.*

XL

*Он входит в дом. Его встречает
Она сама, потупя взор.
Вздых полновесный прерывает
Едва начатый разговор.
О сцене утренней ни слова.
Они друг другу чужды снова.
Он о погоде говорит;
Она «да-с, нет-с» – и замолчит.
Измучен тайною досадой,
Идет он дальше в кабинет...
Но здесь спешить нам нужды
нет,
Притом спешить нигде не надо.
Итак, позвольте отдохнуть,
А там dokonчим как-нибудь.*

XLI

*Я жить спешил в былые годы,
Искал волнений и тревог,
Законы мудрые природы
Я безрассудно пренебрег.*

Что ж вышло? Право, смех и жалость!

Сковала душу мне усталость,
А сожаленье день и ночь
Твердит о прошлом. Чем помочь?
Назад не возвратят усилия.
Так в клетке молодой орел,
Глядя на горы и на дол,
Напрасно не подъемлет крылья —
Кровавой пищи не клюет,
Сидит, молчит и смерти ждет.

XLII

Ужель исчез ты, возраст милый,
Когда все сердцу говорит,
И бьется сердце с дивной силой,
И мысль восторгами кипит?
Не все ж томиться бесполезно
Орлу за клеткою железной:
Он свой воздушный прежний путь
Еще найдет когда-нибудь,
Туда, где снегом и туманом
Одеты темные скалы,
Где гнезда вьют одни орлы,
Где тучи бродят караваном!
Там можно крылья развернуть
На вольный и роскошный путь!

XLIII

Но есть всему конец на свете,
И даже выпреним мечтам.
Ну, к делу. Гарин в кабинете.
О чудеса! Хозяин сам
Его встречает с восхищеньем,
Сажает, потчует вареньем,
Несет шампанского стакан.
«Иуда!» – мыслит мой улан.
Толпа гостей теснилась шумно
Вокруг зеленого стола;
Игра уж дельная была,
И банк притом благоразумный.
Его держал сам казначей
Для облегчения друзей.

XLIV

И так как господин Бобковский
Великим делом занят сам,
То здесь блестящий круг тамбов-
ский
Позвольте мне представить вам.
Во-первых, господин советник,
Блюститель нравов, мирный
сплетник,

А вот уездный предводитель,
Весь спрятан в галстук, фрак до

пят,
Дискант, усы и мутный взгляд.
А вот, спокойствия рачитель,
Сидит и сам исправник – но
Об нем уж я сказал давно.

XLV

Вот, в полуфрачке, раздушенный,
Времен новейших Митрофан,
Нетесаный, недоученый,
А уж безнравственный болван.
Доверье полное имея
К игре и знанью казначея,
Он понтирует, как велят, —
И этой чести очень рад.
Еще тут были... но довольно,
Читатель милый, будет с вас.
И так несвязный мой рассказ,
Перу покорствуя невольню
И своенравию чернил,
Бог знает чем я испестрил.

XLVI

Пошла игра. Один, бледнея,
Рвал карты, вскрикивал; другой,
Поверить проигрыш не смея,
Сидел с поникшей головой.
Иные, при удачной талье,

Стаканы шумно наливали
И чокались. Но банкомет
Был нем и мрачен. Хладный пот
По гладкой лысине струился.
Он все проигрывал дотла.



*В ушах его «дана», «взяла»
Так и звучали. Он взбесился —
И проиграл свой старый дом
И все, что в нем или при нем.*

XLVII

*Он проиграл коляску, дрожки,
Трех лошадей, два хомута,
Всю мебель, женины сережки,
Короче – все, все дочиста.
Отчаянья и злости полный,
Сидел он бледный и безмолвный.
Уж было за полночь. Треща,
Одна погасла уж свеча.
Свет утра синевато-бледный
Вдоль по туманным небесам
Скользил. Уж многим игрокам
Сон прогулять казалось вредно,
Как вдруг, очнувшись, казначей
Вниманья просит у гостей.*

XLVIII

*И просит важно позволенья
Лишь талью прометнуть одну,
Но с тем, чтоб отыграть именье
Иль «проиграть уж и жену».
О страх! о ужас! о злодейство!
И как доньне казначейство*

Еще терпеть его могло!
Всех будто варом обожгло.
Улан один прехладнокровно
К нему подходит. «Очень рад, —
Он говорит, — пускай шумят,
Мы дело кончим полюбовно,
Но только, чур, не плутовать —
Иначе вам несдобровать!»

XLIX

Теперь кружок понтеров праздно-
ных
Вообразить прошу я вас,
Цвета их лиц разнообразных,
Блистанье их очков и глаз,
Потом усастого героя,
Который понтирует стоя;
Против него меж двух свечей
Огромный лоб, седых кудрей
Покрытый редкими клочками,
Улыбкой вытянутый рот
И две руки с колодой — вот
И вся картина перед вами,
Когда прибавим вдалеке
Жену на креслах в уголке.

L

Что в ней тогда происходило —

Я не берусь вам объяснить:
Ее лицо изобразило
Так много мук, что, может
быть,
Когда бы вы их разгадали,
Вы поневоле б зарыдали.
Но пусть участия слеза
Не туманит вам глаза:
Смешно участие в человеке,
Который жил и знает свет.
Рассказы вымышленных бед
В чувствительном прошедшем
веке
Не мало проливали слез...
Кто ж в этом выиграл – вопрос?

LI

Недолго битва продолжалась;
Улан отчаянно играл;
Над стариком судьба смеялась —
И жребий выпал... час настал...
Тогда Авдотья Николавна,
Встав с кресел, медленно и плавно
К столу в молчанье подошла —
Но только цвет ее чела
Был страшно бледен. Обомлела
Толпа, – все ждут чего-нибудь —
Упреков, жалоб, слез... Ничуть!

Она на мужа посмотрела
И бросила ему в лицо
Свое венчалное кольцо —

LII

И в обморок. Ее в охапку
Схватив – с добычей дорогой,
Забыв расчеты, саблю, шапку,
Улан отправился домой.
Поутру вестью забавной
Смущен был город благонравный.
Неделю целую спустя,
Кто очень важно, кто шутя,
Об этом все распространялись.
Старик защитников нашел.
Улана проклял милый пол —
За что, мы, право, не дознались.
Не зависть ли?.. Но нет, нет, нет!
Ух! я не выношу клевет.

LIII

И вот конец печальной были
Иль сказки – выразусь прямой.
Признайтесь, вы меня бранили?
Вы ждали действия? страстей?
Повсюду нынче ищут драмы,
Все просят крови – даже дамы.
А я, как робкий ученик,

Остановился в лучший миг;
Простым нервическим припад-
ком
Неловко сцену заключил,
Соперников не помирил
И не поссорил их порядком...
Что ж делать! Вот вам мой рас-
сказ,
Друзья; покамест будет с вас.



Демон Восточная повесть





Часть I



I

Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны

*В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы!*

II

*Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему.*

III

*И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,*

И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, – и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы

У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!
И дик и чуден был вокруг
Весь Божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье Бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины,
Звонко-бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц, безответных
На сладкий голос их любви;
Чинар развесистые сени,
Густым венчаные плющом,
Пещеры, где палящим днем
Таятся робкие олени;
И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений!
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлажненные ночи,
И звезды яркие, как очи,
Как взор грузинки молодой!..
Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил;
И все, что пред собой он видел,

Он презирал иль ненавидел.

V

Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил...
Трудов и слез он много стоил
Рабам послушным с давних пор.
С утра на скат соседних гор
От стен его ложатся тени.
В скале нарублены ступени;
Они от башни угловой
Ведут к реке, по ним мелькая,
Покрыта белою чадрой[1],
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.

VI

Всегда безмолвно на долины
Глядел с утеса мрачный дом;
Но пир большой сегодня в нем —
Звучит зурна[2], и льются вины —
Гудал сосватал дочь свою,
На пир он созвал всю семью.
На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг:
Средь игр и песен их досуг
Проходит. Дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг;

В ладони мерно ударяя,
Они поют – и бубен свой
Берет невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит —
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья детского полна.
Но луч луны, по влаге зыбкой
Слегка играющий порой,
Едва ль сравнится с той улыбкой,
Как жизнь, как молодость, жи-
вой.

VII

Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока;
Гарема брызжущий фонтан

Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росой
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;
С тех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.

VIII

В последний раз она плясала.
Увы! завтра ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья.
И часто тайное сомненье
Темнило светлые черты;
И были все ее движенья
Так стройны, полны выраженья,
Так полны милой простоты,
Что если б Демон, пролетая,
В то время на нее взглянул,
То, прежних братьий вспоминая,
Он отвернулся б – и вздохнул...

IX

И Демон видел... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук —
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..
И долго сладостной картиной
Он любовался – и мечты
О прежнем счастье цепью длин-
ной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой грустью стал знаком;
В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог...
Забрать? – забвенья не дал Бог:
Да он и не взял бы забвенья!..

.....

Х

Измучив доброго коня,
На брачный пир к закату дня
Спешил жених нетерпеливый.

Арагвы светлой он счастливо
Достиг зеленых берегов.
Под тяжелой ношею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая.
Их колокольчики звенят.
Он сам, властитель Синодала,
Ведет богатый караван.
Ремнем затянут ловкий стан;
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи[3], – кругом она
Вся галуном обложена.
Цветными вышито шелками
Его седло; узда с кистями;
Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушьми и, полный страха,
Храпя, косится с крутизны
На пену скачущей волны.
Опасен, узок путь прибрежный!
Утесы с левой стороны,
Направо глубь реки мятежной.
Уж поздно. На вершине снежной

*Румянец гаснет; встал туман...
Прибавил шагу караван.*

XI

*И вот часовня на дороге...
Тут с давних лет почитет в Боге
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
С тех пор на праздник иль на бит-
ву,
Куда бы путник ни спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил;
И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала.
Но презрел удалой жених
Обычай прадедов своих.
Его коварною мечтою
Лукавый Демон возмущал:
Он в мыслях, под ночною тьмою,
Уста невесты целовал.
Вдруг впереди мелькнули двое,
И больше – выстрел! – что та-
кое?..
Привстав на звонких[4] стре-
менах,
Надвинув на брови папах[5],
Отважный князь не молвил сло-*

ва;
В руке сверкнул турецкий ствол,
Нагайка щелк – и, как орел,
Он кинулся... и выстрел снова!
И дикий крик и стон глухой
Промчались в глубине долины —
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!

XII

Затихло все; теснясь толпой,
На трупы всадников порой
Верблюды с ужасом глядели;
И глухо в тишине степной
Их колокольчики звенели.
Разграблен пышный караван;
И над телами христиан
Чертит круги ночная птица!

Не ждет их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт;
Не придут сестры с матерями,
Покрыты длинными чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами,
На гроб их из далеких мест!
Зато усердною рукою
Здесь у дороги, над скалою,



*На память водрузится крест;
И плющ, разросшийся весной,
Его, ласкаясь, обовьет
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Не раз усталый пешеход
Под Божьей тенью отдохнет...*

XIII

*Несется конь быстрее лани,
Храпит и рвется, будто к брани;
То вдруг осадит на скаку,*

Прислушается к ветерку,
Широко ноздри раздувая;
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит.
На нем есть всадник молчали-
вый!

Он бьется на седле порой,
Припав на гриву головой.
Уж он не правит поводками,
Задвинул ноги в стремяна,
И кровь широкими струями
На чепраке его видна.
Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала!

XIV

В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ:
Чей конь примчался запаленный
И пал на камни у ворот?
Кто этот всадник бездыханный?
Хранили след тревоги бранной
Морщины смуглого чела.
В крови оружие и платье;

В последнем бешеном пожатье
Рука на гриве замерла.
Недолго жениха молодого,
Невеста, взор твой ожидал:
Сдержал он княжеское слово,
На брачный пир он прискакал...
Увы! но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого!..

XV

На беззаботную семью
Как гром слетела Божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой:
«Не плачь, дитя! не плачь напрасно!
Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадет:
Она лишь взор туманит ясный,
Ланиты девственные жжет!
Он далеко, он не узнает,
Не оценит тоски твоей;
Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей;

Он слышит райские напевы...
Что жизни мелочные сны
И стон и слезы бедной девы
Для гостя райской стороны?
Нет, жребий смертного творе-
нья,
Поверь мне, ангел мой земной,
Не стоит одного мгновенья
Твоей печали дорогой!

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья —
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несча-
стья

Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участия
И беспечна, как они!

Лишь только ночь своим покро-



вом
Верхи Кавказа осенит,
Лишь только мир, волшебным
словом

Завороженный, замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травю,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет, —
К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать...»

XVI

Слова умолкли в отдаленье,
Вослед за звуком умер звук.
Она, вскочив, глядит вокруг...
Невыразимое смятенье
В ее груди; печаль, испуг,
Восторга пыл – ничто в сравне-
нье.
Все чувства в ней кипели вдруг;
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробежал,
И этот голос чудно-новый,



Ей мнилось, все еще звучал.
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил;
Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и странной.
Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель.

*Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик – о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!..*

Часть II

I

*«Отец, отец, оставь угрозы,
Свою Тамару не брани;
Я плачу: видишь эти слезы,
Уже не первые они.
Напрасно женихи толпою
Спешат сюда из дальних мест...
Немало в Грузии невест;
А мне не быть ничьей женою!..
О, не брани, отец, меня.
Ты сам заметил: день от дня
Я вяну, жертва злой отравы!
Меня терзает дух лукавый
Неотразимую мечтой;
Я гибну, сжался надо мной!
Отдай в священную обитель
Дочь безрассудную свою;
Там защитит меня Спаситель,*

*Пред Ним тоску мою пролью.
На свете нет уж мне веселья...
Святыни миром осеня,
Пусть примет сумрачная келья,
Как гроб, заранее меня...»*

II

*И в монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и в монашеской одежде,
Как под узорною парчой,
Все беззаконною мечтой
В ней сердце билось, как прежде.
Пред алтарем, при блеске свеч,
В часы торжественного пенья,
Знакомая, среди моленья,
Ей часто слышалася речь.
Под сводом сумрачного храма
Знакомый образ иногда
Скользил без звука и следа
В тумане легком фимиама;
Сиял он тихо, как звезда;
Манил и звал он... но – куда?..*

III

В прохладе меж двумя холмами

Таился монастырь святой.
Чинар и тополей рядами
Он окружен был – и порой,
Когда ложилась ночь в ущелье,
Сквозь них мелькала, в окнах кельи,
Лампада грешницы молодой.
Кругом, в тени деревьев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,
Спевались хоры легких птиц,
По камням прыгали, шумели
Ключи студеною волной,
И под нависшею скалой,
Сливаясь дружески в ущелье,
Катились дальше, меж кустов,
Покрытых инеем цветов.

IV

На север видны были горы.
При блеске утренней Авроры,
Когда синеющий дымок
Курится в глубине долины,
И, обращаясь на восток,
Зовут к молитве муэдзины,
И звучный колокола глас
Дрожит, обитель пробуждая;

*В торжественный и мирный час,
Когда грузинка молодая
С кувшином длинным за водой
С горы спускается крутой,
Вершины цепи снеговой
Светло-лиловою стеной
На чистом небе рисовались
И в час заката одевались
Они румяной пеленой;
И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.*

V

*Но, полно думою преступной,
Тамары сердце недоступно
Восторгам чистым. Перед ней
Весь мир одет угрюмой тенью;
И все ей в нем предлог мученью —
И утра луч и мрак ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обоймет,
Перед божественной иконой
Она в безумье упадет
И плачет; и в ночном молчанье
Ее тяжелое рыданье
Тревожит путника вниманье;*

*И мыслит он: «То горный дух
Прикованный в пещере стонет!»
И, чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит.*

VI

*Тоской и трепетом полна,
Тамара часто у окна
Сидит в раздумье одиноком
И смотрит вдаль прилежным
Оком,
И целый день, вздыхая, ждет...
Ей кто-то шепчет: он придет!
Недаром сны ее ласкали,
Недаром он являлся ей,
С глазами, полными печали,
И чудной нежностью речей.
Уж много дней она томится,
Сама не зная почему;
Святым захочет ли молиться —
А сердце молится ему;
Утомлена борьбой всегдашней,
Склонится ли на ложе сна:
Подушка жжет, ей душно, страшно,
И вся, вскочив, дрожит она;
Пылают грудь ее и плечи,
Нет сил дышать, туман в очах,*

Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на устах...

.....

.....

VII

Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел.
Привычке сладостной послушный,
В обитель Демон прилетел.
Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.
Задумчив у стены высокой
Он бродит: от его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Он поднял взор: ее окно,
Озарено лампадой, блещет;
Кого-то ждет она давно!
И вот средь общего молчанья
Чингара[6] стройное бряцанье
И звуки песни раздались;
И звуки те лились, лились,
Как слезы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она

Была на небе сложена!
Не Ангел ли с забытым другом
Вновь повидаться захотел,
Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?..
Тоску любви, ее волненье
Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться...
Его крыло не шевелится!
И, чудо! из померкших глаз
Слеза тяжелая катится...
Поньше возле кельи той
Насквозь прожженный виден ка-
мень
Слезой жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой!..

VIII

И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепет ожидания,
Страх неизвестности немой,
Как будто в первое свиданье
Спознались с гордою душой.
То было злое предвещанье!

Он входит, смотрит – перед ним
Посланник рая, херувим,
Хранитель грешницы прекрасной,
Стоит с блистающим челом
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил ее крылом;
И луч Божественного света
Вдруг ослепил нечистый взор,
И вместо сладкого привета
Раздался тягостный укор:

IX

«Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полноч-
ной?
Твоих поклонников здесь нет,
Зло не дышало здесь поныне;
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?»

Ему в ответ

Злой дух коварно усмехнулся;
Зарделся ревностью взгляд;
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
«Она моя! – сказал он грозно, —
Оставь ее, она моя!
Явился ты, защитник, поздно,

*И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою;
Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею и люблю!»
И Ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.*

.....

X

Т а м а р а

*О! кто ты? речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?..*

Д е м о н

Ты прекрасна!

Т а м а р а

Но молви, кто ты? отвечай...

Д е м о н

*Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,*

Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познания и свободы,
Я враг небес, я зло природы,
И, видишь, – я у ног твоих!
Тебе принес я в умиление
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первые мои.
О! выслушай – из сожаленья!
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом;
О! только выслушай, молю, —
Я раб твой, – я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидел —
И тайно вдруг возненавидел
Бессмертие и власть мою.
Я позавидовал невольно
Неполной радости земной;
Не жить, как ты, мне стало
больно,
И страшно – розно жить с тобой.
В бескровном сердце луч неждан-

ный
Опять затеплился живею,
И грусть на дне старинной раны
Зашевелилася, как змей.
Что без тебя мне эта вечность?
Моих владений бесконечность?
Пустые звучные слова,
Обширный храм – без божества!

Т а м а р а

Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу...
Творец... Увы! я не могу
Молиться... гибельной отравой
Мой ум слабеющий объят!
Послушай, ты меня погубишь;
Твои слова – огонь и яд...
Скажи, зачем меня ты любишь?

Д е м о н

Зачем, красавица? Увы,
Не знаю!.. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я все бывшее бросил в прах:
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней стра-
стью,

Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты.
В душе моей, с начала мира,
Твой образ был напечатлен,
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
Давно тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мне в раю
Одной тебя недоставало.
О! если б ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века без разделенья
И наслаждаться и страдать,
За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда жалеть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все
видеть,
Стараться все возненавидеть
И все на свете презирать!..
Лишь только Божие проклятье
Исполнилось, с того же дня
Природы жаркие объятья

Навек остыли для меня;
Синело предо мной пространство;
Я видел брачное убранство
Светил, знакомых мне давно...
Они текли в венцах из золота;
Но что же? прежнего собрата
Не узнавало ни одно.
Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,
Но слов и лиц и взоров злобных,
Увы! я сам не узнавал.
И в страхе я, взмахнув крылами,
Помчался – но куда? зачем?
Не знаю... прежними друзьями
Я был отвергнут; как эдем,
Мир для меня стал глух и нем.
По вольной прихоти теченья
Так поврежденная ладья
Без парусов и без руля
Плывет, не зная назначенья;
Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа,
Бог весть откуда и куда!
И я людьми недолго правил,
Греху недолго их учил,

Все благородное бесславил
И все прекрасное хулил;
Недолго... пламень чистой веры
Легко навек я залил в них...
А стоили ль трудов моих
Одни глупцы да лицемеры?
И скрылся я в ущельях гор;
И стал бродить, как метеор,
Во мраке полночи глубокой...
И мчался путник одинокой,
Обманут близким огоньком;
И в бездну падая с конем,
Напрасно звал – и след кровавый
За ним вился по крутизне...
Но злобы мрачные забавы
Недолго нравились мне!
В борьбе с могучим ураганом,
Как часто, подымая прах,
Одетый молнией и туманом,
Я шумно мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятеж-
ной
Сердечный ропот заглушить,
Спасти от думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повесть тягостных лише-
ний,
Трудов и бед толпы людской

*Грядущих, прошлых поколений,
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
Что люди? что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут...
Надежда есть – ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!*

*Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень*

*—
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей!..*

Т а м а р а

*Зачем мне знать твои печали,
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил...*

Д е м о н

Против тебя ли?

Т а м а р а

Нас могут слышать!..

Д е м о н

Мы одне.

Т а м а р а

А Бог!

Д е м о н

*На нас не кинет взгляда:
Он занят Небом, не землей!*

Т а м а р а

А наказанье, муки ада?

Д е м о н

*Так что ж? Ты будешь там со
мною!*

Т а м а р а

*Кто б ни был ты, мой друг слу-
чайный, —
Покой навеки погубя,
Невольню я с отрадой тайной,
Страдалец, слушаю тебя.
Но если речь твоя лукава,
Но если ты, обман тая...
О! пощади! Какая слава?*

На что душа тебе моя?
Ужели Небу я дороже
Всех, не замеченных тобой?
Они, увь! прекрасны тоже;
Как здесь, их девственное ложе
Не смято смертною рукой...
Нет! дай мне клятву роковую...
Скажи, – ты видишь: я тоскую;
Ты видишь женские мечты!
Невольно страх в душе ласка-
ешь...
Но ты все понял, ты все знаешь —
И сжалишься, конечно, ты!
Клянися мне... от злых стяжаний
Отречься ныне дай обет.
Ужель ни клятв, ни обещаний
Ненарушимых больше нет?..

Д е м о н

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духов,

Судьбою братьев мне подвласт-
ных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся Небом я и адом,
Земной святыней и тобой,
Клянусь твоим последним взгля-
дом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шелковых кудрей,
Клянусь блаженством и страда-
нием,
Клянусь любовью моей:
Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с Небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы Небесного огня —
И мир в неведенье спокойном
Пусть доцветает без меня!
О! верь мне: я один поныне
Тебя постиг и оценил:

Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду, как дара,
И вечность дам тебе за миг;
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя;
Без сожаленья, без участия
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только
жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое, —
Но дни бегут, и стынет кровь!
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты?
Нет! не тебе, моей подруге,

Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча в тесном круге
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушных и холодных,
Друзей притворных и врагов,
Боязней и надежд бесплодных,
Пустых и тягостных трудов!
Печально за стеной высокой
Ты не угаснешь без страстей,
Среди молитв, равно далеко
От божества и от людей.
О нет, прекрасное созданье,
К иному ты присуждена;
Тебя иное ждет страданье,
Иных восторгов глубина;
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам;
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката

Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня!..

XI

И он слегка
Коснулся жаркими устами
Ее трепещущим губам;
Соблазна полными речами
Он отвечал ее мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи!
Он жег ее. Во мраке ночи
Над нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал.
Увы! злой дух торжествовал!
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь ее проник.
Мучительный, ужасный крик
Ночное возмутил молчанье.
В нем было все: любовь, страда-

нье,
Упрек с последнею мольбой
И безнадежное прощанье —
Прощанье с жизнью молодой.

XII

В то время сторож полуночный,
Один вокруг стены крутой
Свершая тихо путь урочный,
Бродил с чугуною доской,
И возле кельи девы юной
Он шаг свой мерный укротил
И руку над доской чугуной,
Смутясь душой, остановил.
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышал он
Двух уст согласное лобзанье,
Минутный крик и слабый стон.
И нечестивое сомненье
Проникло в сердце старика...
Но пронеслось еще мгновенье,
И стихло все; издалека
Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило,
Да с темным берегом уныло
Шепталась горная река.
Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать,

Чтоб наважденье духа злого
От грешной мысли отогнать;
Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И молча скорыми шагами
Обычный продолжает путь.

.....

XIII

Как пери спящая мила,
Она в гробу своем лежала,
Белей и чище покрывала
Был томный цвет ее чела.
Навек опущены ресницы...
Но кто б, о Небо! не сказал,
Что взор под ними лишь дремал
И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя, иль денницы?
Но бесполезно луч дневной
Скользил по ним струей златой,
Напрасно их в немой печали
Уста родные целовали...
Нет! смерти вечную печать
Ничто не в силах уж сорвать!

XIV

Ни разу не был в дни веселья
Так разноцветен и богат

Тамары праздничный наряд.
Цветы родимого ущелья
(Так древний требует обряд)
Над нею льют свой аромат
И, сжаты мертвою рукою,
Как бы прощаются с землею!
И ничего в ее лице
Не намекало о конце
В пылу страстей и упоенья;
И были все ее черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по ее устам.
О многом грустном говорила
Она внимательным глазам:
В ней было хладное презренье
Души, готовой отцвести,
Последней мысли выраженье,
Земле беззвучное прости.
Напрасный отблеск жизни преж-
ней,
Она была еще мертвей,
Еще для сердца безнадежней
Навек угаснувших очей.
Так в час торжественный заката,

Когда, растаяв в море злата,
Уж скрылась колесница дня,
Снега Кавказа, на мгновенье
Отлив румяный сохраня,
Сияют в темном отдаленье.
Но этот луч полуживой
В пустыне отблеска не встре-
тит,
И путь ничей он не осветит
С своей вершины ледяной!..

XV

Толпой соседи и родные
Уж собрались в печальный путь.
Терзая локоны седые,
Безмолвно поражая грудь,
В последний раз Гудал садится
На белогривого коня.
И поезд тронулся. Три дня,
Три ночи путь их будет длиться:
Меж старых дедовских костей
Приют покойный вырыт ей.
Один из праотцев Гудала,
Грабитель странников и сел,
Когда болезнь его сковала
И час раскаянья пришел,
Грехов минувших в искупленье
Построить церковь обещал

На вышине гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.
И скоро меж снегов Казбека
Поднялся одинокий храм,
И кости злого человека
Вновь успокоились там;
И превратилась в кладбище
Скала, родная облакам.
Как будто ближе к небесам
Теплей посмертное жилище?..
Как будто дальше от людей
Последний сон не возмутится...
Напрасно! мертвым не приснится
с
Ни грусть, ни радость прошлых
дней.

XVI

В пространстве синего эфира
Один из ангелов святых
Летел на крыльях золотых,
И душу грешную от мира
Он нес в объятиях своих.
И сладкой речью упованья
Ее сомненья разгонял,
И след проступка и страданья
С нее слезами он смывал.

Издали уж звуки рая
К ним доносились – как вдруг,
Свободный путь пересекая,
Взвился из бездны адский дух.
Он был могущ, как вихорь шум-
ный,
Блистал, как молнии струя,
И гордо в дерзости безумной
Он говорит: «Она моя!»

К груди хранительной прижалась,
Молитвой ужас заглуша,
Тамары грешная душа.
Судьба грядущего решалась,
Пред нею снова он стоял,
Но, Боже! – кто б его узнал?
Каким смотрел он злобным
взглядом,
Как полон был смертельным
ядом
Вражды, не знающей конца, —
И вяло могильным хладом
От неподвижного лица.

«Исчезни, мрачный дух сомненья!

—
Посланник Неба отвечал. —
Довольно ты торжествовал;

Но час суда теперь настал —
И благо Божие решение!
Дни испытания прошли;
С одеждой брэнною земли
Оковы зла с нее ниспали.
Узнай! давно ее мы ждали!
Ее душа была из тех,
Которых жизнь – одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои...
Она страдала и любила —
И рай открылся для любви!»

И Ангел строгими очами
На искуителя взглянул
И, радостно взмахнув крылами,
В сиянье Неба потонул.
И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои,
И вновь остался он, надменный,
Один, как прежде, во вселенной
Без упованья и любви!..

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...
Как призрак, памятник безмолв-
ный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут, звеня, издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река.
И жизнью вечно молодою,
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботная дитя.

Но грустен замок, отслуживший
Когда во очередь свою,
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью.
И только ждут луны восхода

Его незримые жильцы:
Тогда им праздник и свобода!
Жужжат, бегут во все концы.
Седой паук, отшельник новый,
Прядет сетей своих основы;
Зеленых ящериц семья
На кровле весело играет;
И осторожная змея
Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца,
То вдруг совется в три кольца,
То ляжет длинной полосой
И блещет, как булатный меч,
Забывший в поле давних сеч,
Не нужный падшему герою!..
Все дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомним ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!

Но церковь на крутой вершине,
Где взяты кости их землей,
Хранима властью святой,
Видна меж туч еще поныне.
И у ворот ее стоят
На страже черные граниты,

Плащами снежными покрыты;
И на груди их вместо лат
Льды вековечные горят.
Обвалов сонные громады
С уступов, будто водопады,
Морозом схваченные вдруг,
Висят, нахмурившись, вокруг.
И там метель дозором ходит,
Сдувая пыль со стен седых,
То песню долгую заводит,
То окликает часовых;
Услыша вести в отдаленье
О чудном храме, в той стране,
С востока облака одне
Спешат толпой на поклоненье;
Но над семьей могильных плит
Давно никто уж не грустит.
Скала угрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит.



Мцыри[7]

Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю.

1-я Книга Царств



*Немного лет тому назад,
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним*



*Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертью забыт,
Сметает пыль с могильных
плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой – и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.*

* * *

*И Божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасая врагов,
За гранью дружеских штыков.*

2

*Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился, даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасен.
Но, чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,*

Бродил безмолвен, одиноко,
Смотрел, вздыхая, на восток,
Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещен святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез
Осенней ночью. Темный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нем
Напрасны были, но потом
Его в степи без чувств нашли
И вновь в обитель принесли.
Он страшно бледен был и худ
И слаб, как будто долгий труд,
Болезнь иль голод испытал.
Он на допрос не отвечал
И с каждым днем приметно вял.
И близок стал его конец;
Тогда пришел к нему чернец
С увещеваньем и мольбой;
И, гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил:

«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать, —
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну – но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощеньи не молю.

Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас —
Зачем?.. Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах
Душой дитя, судьбой монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов «отец» и «мать».
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен, —
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ – могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я, как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

5

Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться
мне,
Я молод, молод... Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;
Как сердце билось живею
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой скважине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил, – я также мог бы жить!

6

Ты хочешь знать, что видел я
На воле? – Пышные поля,

Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежеею толпой,
Как братья в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял,
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объятая каменные их,
И жаждут встречи каждый миг;
Но дни бегут, бегут года —
Им не сойтись никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курились, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег —
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних
стран!
Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему

Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней...

7

И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше, и кругом
В тени рассыпанный аул;
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.
Я помнил смуглых стариков,
При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица;
И блеск оправленных ножон
Кинжалов длинных... и как сон
Все это смутной чередой
Вдруг пробежало предо мной.
А мой отец? он как живой
В своей одежде боевой
Являлся мне, и помнил я
Кольчуги звон, и блеск ружья,
И гордый непреклонный взор,
И молодых моих сестер...
Лучи их сладостных очей

И звук их песен и речей
Над колыбелию моей...
В ущелье там бежал поток.
Он шумен был, но неглубок;
К нему, на золотой песок,
Играть я в полдень уходил
И взором ласточек следил,
Когда они перед дождем
Волны касались крылом.
И вспомнил я наш мирный дом
И пред вечерним очагом
Рассказы долгие о том,
Как жили люди прежних дней,
Когда был мир еще пышней.

8

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил – и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,

Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил...
Скажи мне, что среди этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..

9

Бежал я долго – где, куда?
Не знаю! ни одна звезда
Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов,
И только! Много я часов
Бежал и наконец, устав,
Прилег между высоких трав;
Прислушался: погони нет.
Гроза утихла. Бледный свет
Тянулся длинной полосой
Меж темным небом и землей,
И различал я, как узор,
На ней зубцы далеких гор;
Недвижим, молча я лежал.

Порой в ущелии шакал
Кричал и плакал, как дитя,
И, гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней;
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей
И полз и прятался, как змей.

10

Внизу глубоко подо мной
Поток, усиленный грозой,
Шумел, и шум его глухой
Сердитых сотне голосов
Подобился. Хотя без слов,
Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудью камней.
То вдруг стихал он, то сильнее
Он раздавался в тишине;
И вот, в туманной вышине
Запели птички, и восток
Озолотился; ветерок
Сырые шевельнул листья;
Дохнули сонные цветы,
И, как они, навстречу дню
Я поднял голову мою...
Я осмотрелся; не таю:
Мне стало страшно; на краю



Грозящей бездны я лежал,

Где выл, крутясь, сердитый вал;
Туда вели ступени скал;
Но лишь злой дух по ним шагал,
Когда, низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.

11

Кругом меня цвел Божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж деревьев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой.
И снова я к земле припал
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голо-
сам;
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все природы голоса
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.

*Все, что я чувствовал тогда,
Те думы – им уж нет следа;
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно,
опять.*

*В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал.*

12

*Тогда к потоку с высоты,
Держась за гибкие кусты,
С плиты на плиту я, как мог,
Спускаться начал. Из-под ног
Сорвавшись, камень иногда
Катился вниз – за ним бразда
Дымилась, прах вился столбом;
Гудя и прыгая, потом
Он поглощаем был волной;
И я висел над глубиной,
Но юность вольная сильна,
И смерть казалась не страшна!*

Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг голос – легкий шум шагов...
Мгновенно скрывшись меж ку-
стов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал:
И ближе, ближе все звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.

13

Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей.
И беден был ее наряд;

И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек.
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звон, – когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох... больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла, хоть тише, – но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь ее полей!
Недалеко, в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой;
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.
Я вижу будто бы теперь,
Как отперлась тихонько дверь...
И затворилась опять!..
Тебе, я знаю, не понять

Мою тоску, мою печаль;
И если б мог, – мне было б жаль:
Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.

14

Трудами ночи изнурен,
Я лег в тени. Отраднѣй сон
Сомкнул глаза невольнѣо мне...
И снова видел я во сне
Грузинки образ молодой.
И странной, сладкою тоской
Опять моя заныла грудь.
Я долго силился вздохнуть —
И пробудился. Уж луна
Вверху сияла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Как за добычею своею,
Объятыя жадные раскрыв.
Мир темен был и молчалив;
Лишь серебристой бахромой
Вершины цепи снеговой
Вдали сверкали предо мной
Да в берега плескал поток.
В знакомой сакле огонек
То трепетал, то снова гас:
На небесах в полночный час
Так гаснет яркая звезда!

Хотелось мне... но я туда
Взойти не смел. Я цель одну —
Пройти в родимую страну —
Имел в душе и превозмог
Страданье голода, как мог.
И вот дорогою прямой
Пустился, робкий и немой.
Но скоро в глубине лесной
Из виду горы потерял
И тут с пути сбиваться стал.

15

Напрасно в бешенстве порой
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом.
Все лес был, вечный лес кругом,
Страшней и гуще каждый час;
И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста...
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на деревья;
Но даже на краю небес
Все тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал;
И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли

В нее горючею росой...
Но, верь мне, помощи людской
Я не желал... Я был чужой
Для них навек, как зверь степной;
И если б хоть минутный крик
Мне изменил – клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.

16

Ты помнишь детские года:
Слезы не знал я никогда;
Но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? Лишь темный
лес
Да месяц, плывший средь небес!
Озарена его лучом,
Покрыта мохом и песком,
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры... и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость —
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;

То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц, – и на нем
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови... да, рука судьбы
Меня вела иным путем...
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов.

17

Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный, как
стон,
Раздался вдруг... и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертью грозил...
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек...
Он застонал, как человек,

*И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!*

18

*Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружие... Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;*

*Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я – и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык...
Но враг мой стал изнемогать,*



*Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз...
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно – и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к ли-*

цу,
Как в битве следует бойцу!..

19

Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покров их освежит
И смерть навеки заживит.
О них тогда я позабыл,
И, вновь собрав остаток сил,
Побрел я в глубине лесной...
Но тщетно спорил я с судьбой:
Она смеялась надо мной!

20

Я вышел из лесу. И вот
Проснулся день, и хоровод
Светил напутственных исчез
В его лучах. Туманный лес
Заговорил. Вдали аул
Куриться начал. Смутный гул
В долине с ветром пробежал...
Я сел и вслушиваться стал;
Но смолк он вместе с ветерком.
И кинул взоры я кругом:
Тот край, казалось, мне знаком.

И страшно было мне, понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,
И все зачем?.. Чтоб в цвете лет,
Едва взглянув на Божий свет,
При звучном ропоте дубрав
Блаженство вольности познав,
Унести в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор!..
Еще в сомненье погружен,
Я думал – это страшный сон...
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине —
И тут все ясно стало мне...
О! я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз
Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про легких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал!..
И слушал я без слез, без сил.

Казалось, звон тот выходил
Из сердца – будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложит уж никогда.

21

Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь, в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь...
Что я пред ним? Напрасно грудь
Полна желаньем и тоской:
То жар бессильный и пустой,
Игра мечты, болезнь ума.
На мне печать свою тюрьма
Оставила... Таков цветок
Темничный: вырос одинок
И бледен он меж плит сырых,
И долго листьев молодых
Не распускал, все ждал лучей
Живительных. И много дней
Прошло, и добрая рука
Печалью тронулась цветка,
И был он в сад перенесен,
В соседство роз. Со всех сторон

Дышала сладость бытия...
Но что ж? Едва взошла заря,
Палящий луч ее обжиг
В тюрьме воспитанный цветок...

22

И как его, палил меня
Огонь безжалостного дня.
Напрасно прятал я в траву
Мою усталую главу:
Иссохший лист ее венцом
Терновым над моим челом
Свивался, и в лицо огнем
Сама земля дышала мне.
Сверкая быстро в вышине,
Кружились искры; с белых скал
Струился пар. Мир Божий спал
В оцепенении глухом
Отчаянья тяжелым сном.
Хотя бы крикнул коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячий лепет... Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Как будто надписью золотой
Покрытый донизу клинок,
Браздя рассыпчатый песок,

Скользила бережно; потом,
Играя, нежась на нем,
Тройным свивалася кольцом;
То, будто вдруг обожжена,
Металась, прыгала она
И в дальних пряталась кустах...

23

И было все на небесах
Светло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернели две горы.
Наш монастырь из-за одной
Сверкал зубчатую стеной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко...
До них мне было далеко!
Хотел я встать – передо мной
Все закружилось с быстротой;
Хотел кричать – язык сухой
Беззвучен и недвижим был...
Я умирал. Меня томил
Предсмертный бред.
Казалось мне,
Что я лежу на влажном дне
Глубокой речки – и была

Кругом таинственная мгла.
И, жажду вечную поя,
Как лед холодная струя,
Журча, вливалась мне в грудь...
И я боялся лишь заснуть, —
Так было сладко, любо мне...
А надо мною в вышине
Волна теснилася к волне
И солнце сквозь хрусталь волны
Сияло сладостней луны...
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.
И помню я одну из них:
Она приветливей других
Ко мне ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ее спина. Она вилась
Над головой моей не раз,
И взор ее зеленых глаз
Был грустно нежен и глубок...
И надивиться я не мог:
Ее серебристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.

Он говорил: «Дитя мое,
Останься здесь со мной:
В воде привольное житье

И холод и покой.

** * **

*Я созову моих сестер:
Мы пляской круговой
Развеселим туманный взор
И дух усталый твой.*

** * **

*Усни, постель твоя мягка,
Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
Под говор чудных снов.*

** * **

*О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю, как вольную струю,
Люблю, как жизнь мою...»*

*И долго, долго слушал я;
И мнилось, звучная струя
Сливалась тихий ропот свой
С словами рыбки золотой.
Тут я забылся. Божий свет
В глазах угас. Безумный бред
Бессилью тела уступил...*

24

Так я найдён и поднят был...
Ты остальное знаешь сам.
Я кончил. Верь моим словам
Или не верь, мне все равно.
Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной,
И повесть горьких мук моих
Не призовет меж стен глухих
Вниманье скорбное ничье
На имя темное мое.

25

Прощай, отец... дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне...
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожест свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой...
Но что мне в том? – пускай в
раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют...
Увы! – за несколько минут

Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял...

26

Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать,
Ты перенеси меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста...
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне при-
шлет,
Пришлет с прохладным ветер-
ком...
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо
мною,

Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну...
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!..»



Кавказский пленник



Часть первая

*Genieße und leide!
Dulde und entbehre!
Liebe, hoff' und glaube!
Conz[8]*



I

*В большом ауле, под горою,
Близ саклей дымных и простых,
Черкесы позднею порою
Сидят – о конях удалых
Заводят речь, о метких стрелах,*

*О разоренных ими селах;
И с ними как дрался казак,
И как на русских нападали,
Как их пленили, побеждали.
Курят беспечно свой табак,
И дым, вясь, летит над ними,
Иль, стукнув шашками своими,
Песнь горцев громко запоют.*

*Иные на коней садятся,
Но перед тем как расставаться,
Друг другу руку подают.*

II

*Меж тем черкешенки молодые
Взбегают на горы крутые
И в темну даль глядят – но пыль
Лежит спокойно по дороге;
И не шелохнется ковыль,
Не слышно шума, ни тревоги.*

*Там Терек издали кружит,
Меж скал пустынных протекает
И пеной зыбкой орошает
Высокий берег; лес молчит;
Лишь изредка олень пугливый
Через пустыню пробежит;
Или коней табун игривый*

Молчанье дола возмутит.

III

Лежал ковер цветов узорный
По той горе и по холмам;
Внизу сверкал поток нагорный
И тек струисто по кремням...
Черкешенки к нему сбежались,
Водю чистой умывались.
Со смехом младости простым
На дно прозрачное иные
Бросали кольца дорогие;
И к волосам своим густым
Цветы весенние вплетали;
Гляделися в зеркало вод,
И лица их в нем трепетали.
Сплетаясь в тихий хоровод,
Восточны песни напевали;
И близ аула под горой
Сидели резвою толпой;
И звуки песни произвольной
Ущелья вторили невольно.

IV

Последний солнца луч золотой
На льдах серебристых догорает,
И Эльборус своей главой
Его, как туча, закрывает.

.....

Уж раздалось мычанье стад
И ржанье табунов веселых;
Они с полей идут назад...
Но что за звук цепей тяжелых?
Зачем печаль сих пастухов?
Увы! то пленники молодые,
Утратив годы золотые,
В пустыне гор, в глуши лесов,
Близ Терека пасут уныло
Черкесов тучные стада,
Воспоминая то, что было
И что не будет никогда!
Как счастье тщетно их ласкало,
Как оставляло наконец
И как оно мечтою стало!..
И нет к ним жалостных сердец!
Они в цепях, они рабами!
Сливалось все, как в мутном сне,
Души не чувствуя, оне
Уж видят гроб перед очами.
Несчастные! в чуждом краю!
Исчезли сердца упованья;
В одних слезах, в одном страданье
Отраду зрят они свою.

V

Надежды нет им возвратиться;

*Но сердце поневоле мчится
В родимый край. Они душой
Тонули в думе роковой.*

.....
*Но пыль взвивалась над холмами
От стад и борзых табунов;
Они усталыми шагами
Идут домой. Лай верных псов
Не раздавался вокруг аула;
Природа шумная уснула;
Лишь слышен дев издалика
Напев унылый. Вторяют горы,
И нежен он, как птичек хоры,
Как шум приветный ручейка.*

ПЕСНЯ

1

*Как сильной грозой
Сосну вдруг согнет;
Пронзенный стрелою,
Как лев заревет;
Так русский средь бою
Пред нашим падет;
И смелой рукою
Чеченец возьмет
Броню золотую
И саблю стальную
И в горы уйдет.*

2

*Ни конь, оживленный
Военной трубой,
Ни варвар, смятенный
Внезапной борьбой,
Страшней не трепещет,
Когда вдруг заблещет
Кинжал роковой.*

*Внимали пленники уныло
Печальной песни сей для них,
И сердце в грусти страшно ныло...
Ведут черкесы к сакле их;
И, привязавши у забора,
Ушли. Меж них огонь трещит;
Но не смыкает сон их взора,
Не могут горесть дня забыть.*

VI

*Льет месяц томное сиянье.
Черкесы храбрые не спят;
У них шумливое собранье:
На русских нападать хотят.*

*Вокруг оседланные кони;
Серебряные блещут брони;
На каждом лук, кинжал, колчан
И шашка на ремнях наборных,*

Два пистолета и аркан,
Ружье; и в бурках, в шапках чер-
ных,
К набегу стар и млад готов,
И слышен топот табунов.
Вдруг пыль взвилася над горами,
И слышен стук издадека;
Черкесы смотрят: меж кустами
Гирея видно, ездока!

VII

Он понуждал рукой могучей
Коня, приталкивал ногой,
И влек за ним аркан летучий
Младого пленника <с> собой.
Гирей приблизился – веревкой
Был связан русский, чуть живой.
Черкес прыгнул, рукою ловкой
Разрезывал канат; но он
Лежал на камне – смертный сон
Летал над юной головою...

.....
Черкесы скачут уж – как раз
Сокрылись за горой крутою;
Уроком бьет полночный час.

VIII

От смерти лишь из сожаленья



Младого русского спасли;

Его к товарищам снесли.
Забывши про свои мученья,
Они, не отступая прочь,
Сидели близ него всю ночь...

.....
И бледный лик, в крови омытый,
Горел в щеках – он чуть дышал,
И смертным холодом облитый,
Протягшись, на траве лежал.

IX

Уж полдень, прямо над аулом,
На светло-синей высоте,
Сиял в обычной красоте.
Сливались с протяжным гулом
Стадов черкесских – по холмам
Дыханье ветерков проворных,
И ропот ручейков нагорных,
И пенье птичек по кустам.
Хребта Кавказского вершины
Пронзали синеву небес,
И оперял дремучий лес
Его зубчатые стремнины.
Обложен степенями гор,
Расцвел узорчатый ковер;
Там под столетними дубами,
В тени, окованный цепями,
Лежал наш пленник на траве.

*В слезах склоняясь к молодой главе,
Товарищи его несчастья
Водой старались оживить
(Но ах! утраченного счастья
Никто не мог уж возвратить).*

*.....
Вот он, вздохнувши, приподнялся,
И взор его уж открывался!
Вот он взглянул!.. затрепетал.
...Он с незабытыми друзьями! —
Он, вспыхнув, загремел цепями...
Ужасный звук все, все сказал!!*

*Несчастный залился слезами,
На грудь к товарищам упал,
И горько плакал и рыдал.*

X

*Счастлив еще: его мученья
Друзья готовы разделять
И вместе плакать и страдать...
Но кто сего уж утешенья
Лишен в сей жизни слез и бед,
Кто в цвете юных пылких лет
Лишен того, чем сердце льстило,
Чем счастье издали манило...
И если годы унесли
Пору цветов искать, как прежде,*

*Минутной радости в надежде, —
Пусть не живет тот на земли.*

XI

*Так пленник мой с родной стра-
ною
Почти навек «прости» сказал!
Терзался прошлою мечтою,
Ее места воспоминал:
Где он провел златую младость,
Где испытал и жизни сладость,
Где много милого любил,
Где знал веселье и страданья,
Где он, несчастный, погубил
Святые сердца упованья...*

.....

XII

*Он слышал слово «навсегда!».
И, обреченный тяжелой долей,
Почти дружился он с неволей.
С товарищами иногда
Он пас черкесские стада.
Глядел он с ними, как лавины
Катятся с гор и как шумят;
Как лавой снежною блестят,
Как ими кроются долины;
Хотя цепями скован был,*

Но часто к Тереку ходил.
И слушал он, как волны воют,
Подошвы скал угрюмых роют,
Текут средь дебрей и лесов...
Смотрел, как в высоте холмов
Блестят огни сторожевые
И как вокруг них казаки
Глядят на мутный ток реки,
Склонясь на копья боевые.
Ах! как желал бы там он быть;
Но цепь мешала переплыть.

XIII

Когда же полдень над главою
Горел в лучах, то пленник мой
Сидел в пещере, где от зною
Он мог сокрыться. Под горой
Ходили табуны. Лежали
В тени другие пастухи,
В кустах, в траве и близ реки,
В которой жажду утоляли...
И там-то пленник мой глядит:
Как иногда орел летит,
По ветру крылья простирает
И, видя жертвы меж кустов,
Когтьми хватает вдруг, – и вновь
Их с криком кверху поднимает...
«Так! – думал он, – я жертва та,

Котора в пищу им взята».

XIV

Смотрел он также, как кустами
Иль синей степью, по горам,
Сайгаки, с быстрыми ногами,
По камням острым, по кремням,
Летят, стремнины презирая...
Иль как олень и лань младая,
Услыша пенье птиц в кустах,
Со скал, не шевелясь, внимают —
И вдруг внезапно исчезают,
Взвивая вверх песок и прах.

XV

Смотрел, как горцы мчатся к
бою
Иль скачут смело над рекою;
Остановились, – лошадей
Толкают смелою ногою...
И вдруг, припав к луке своей,
Близ берегов они мелькают,
Стремят – и, снова поскакав,
С утеса падают стремглав
И...
...шумно в брызгах исчезают —
Потом плывут и достигают
Уже противных берегов,

Они уж там и в тьме лесов
Себя от казаков скрывают...
Куда глядите, казаки?
Смотрите, волны у реки
Седою пеной забелели!
Смотрите, враны на дубах
Вострепенулись, улетели,
Сокрылись с криком на холмах!
Черкесы путника арканом
В свои ущелья завлекут...
И, скрытые ночным туманом,
Оковы смерть вам нанесут.

XVI

И часто, отгоняя сон,
В глухую полночь смотрит он,
Как иногда черкес чрез Терек
Плывет на верном тулуке,
Бушуют волны на реке,
В тумане виден дальний берег,
На пне пред ним висят кругом
Его оружия стальные:
Колчан, лук, стрелы боевые;

И шашка острая, ремнем
Привязана, звенит на нем.
Как точка в волнах он мелькает,
То виден вдруг, то исчезает...



*Вот он причалил к берегам.
Беда беспечным казакам!
Не зреть уж им родного Дона,
Не слышать колоколов звона!
Уже чеченец под горой,
Железная кольчуга блещет;
Уж лук звенит, стрела трепещет,*

*Удар несетя роковой!..
Казак! казак! увы, несчастный!
Зачем злодей тебя убил?
Зачем же твой свинец опасный
Его так быстро не сразил?..*

XVII

*Так пленник бедный мой уныло,
Хоть сам под бременем оков,
Смотрел на гибель казаков.
Когда ж полночное светило
Восходит, близ забора он
Лежит в ауле – тихий сон
Лишь редко очи закрывает.
С товарищами – вспоминает
О милой той родной стране;
Грустит; но больше, чем оне...
Оставив там залог прелестный,
Свободу, счастье, что любил,
Пустился он в край неизвестный,
И... все в краю том погубил.*

Часть вторая

XVIII

*Однажды, погрузась в мечтанье,
Сидел он позднею порой;
На темном своде без сиянья
Бесцветный месяц молодой
Стоял, и луч дрожащий, бледный
Лежал на зелени холмов,
И тени шаткие дерев,
Как призраки, на крыше бедной
Черкесской сакли прилегли.
В ней огонек уже зажгли,
Краснея, он, в лампаде медной,
Чуть освещал большой забор...
Все спит: холмы, река и бор.*

XIX

*Но кто в ночной тени мелькает?
Кто легкой тенью меж кустов
Подходит ближе, чуть ступает,
Все ближе... ближе... через ров
Идет бредучею стопою?..
Вдруг видит он перед собою:
С улыбкой жалости немой
Стоит черкешенка младая!
Дает заботливой рукой*

Хлеб и кумыс прохладный свой,
Пред ним колена преклоняя.
И взор ее изобразил
Души порыв, как бы смятенной.
Но пищу принял русский пленный
И знаком ей благодарил.

XX

И долго, долго, как немая,
Стояла дева молодая.
И взгляд как будто говорил:
«Утешь себя, невольник милый;
Еще не все ты погубил».
И вздох нетяжкий, но унылый
В груди раздался молодой;
Потом чрез вал она крутой
Домой пошла тропою мишистой
И скрылась вдруг в дали тени-
стой,
Как некий призрак гробовой.
И только девы покрывало
Еще очам вдали мелькало,
И долго, долго пленник мой
Смотрел ей вслед – она сокры-
лась.
Подумал он: но почему
Она к несчастью моему
С такою жалостью склонилась?

Он ночь всю не смыкал очей;
Уснул за час лишь пред зарей.

XXI

Четверту ночь к нему ходила
Она и пищу приносила;
Но пленник часто все молчал,
Словам печальным не внимал;
Ах! сердце, полное волнений,
Чуждалось новых впечатлений;
Он не хотел ее любить.
И что за радости в чужбине,
В его плену, в его судьбине?
Не мог он прежнее забыть...
Хотел он благодарным быть,
Но сердце жаркое терялось
В его страдании немом
И, как в тумане зыбком, в нем
Без отголоска поглощалось!..
Оно и в шуме и в тиши
Тревожит сон его души.

XXII

Всегда он с думою унылой
В ее блистающих очах
Встречает образ вечно милый.
В ее приветливых речах
Знакомые он слышит звуки...

*И к призраку стремятся руки;
Он вспомнил все – ее зовет...
Но вдруг очнулся. Ах! несчастный,
В какой он бездне здесь ужасной;
Уж жизнь его не расцветет.
Он гаснет, гаснет, увядает,
Как цвет прекрасный на заре;
Как пламень юный, потухает
На освященном алтаре!!!*

XXIII

*Не понял он ее стремленья,
Ее печали и волненья;
Не думал он, чтобы она
Из жалости одной пришла,
Взглянувши на его мученья;
Не думал также, чтоб любовь
Точила сердце в ней и кровь;
И в страшном был недоуменье...*

*.....
Но в эту ночь ее он ждал...
Настала ночь уж роковая;
И, сон от очей отгоняя,
В пещере пленник мой лежал.*

XXIV

*Поднялся ветер той порою,
Качал во мраке дерева,*

*И свист его подобен вою —
Как воеет полночью сова.*

*Сквозь листья дождик пробирался;
Вдали на тучах гром катался;
Блестая, молния струей
Пещеру темну озаряла,
Где пленник бедный мой лежал,
Он весь промок и весь дрожал...*

.....
*Гроза помалу утихала;
Лишь капала вода с деревьев;
Кой-где потоки меж холмов
Струю мутною бежали
И в Терек с брызгами впадали.
Черкесов в темном поле нет...
И тучи врозь уж разбегают,
И кой-где звездочки мелькают;
Проглянет скоро лунный свет.*

XXV

*И вот над ним луна золотая
На легком облаке всплыла;
И в верх небесного стекла,
По сводам голубым играя,
Блестящий шар свой провела.
Покрылись пеленой сребристой*

Холмы, леса и луг с рекой.
Но кто печальною стопой
Идет один тропой гористой?
Она... с кинжалом и пилой;
Зачем же ей кинжал булатный?
Ужель идет на подвиг ратный!
Ужель идет на тайный бой!..
Ах нет! наполнена волнений,
Печальных дум и размышлений,
К пещере подошла она;
И голос раздался известный;
Очнулся пленник как от сна,
И в глубине пещеры тесной
Садятся... долго они там
Не смели воли дать словам...
Вдруг дева шагом осторожным
К нему, вздохнувши, подошла;
И, руку взяв, с приветом нежным,
С горячим чувством, но мятеж-
ным,
Слова печальны начала:

XXVI

«Ах русский! русский! что с то-
бою!
Почто ты с жалостью немою,
Печален, хладен, молчалив,
На мой отчаянный призыв...

Еще имеешь в свете друга —
Еще не все ты потерял...
Готова я часы досуга
С тобой делить. Но ты сказал,
Что любишь, русский, ты другую.
Ее бежит за мною тень,
И вот об чем, и ночь и день,
Я плачу, вот об чем тоскую!..
Забудь ее, готова я
С тобой бежать на край вселен-
ной!
Забудь ее, люби меня,
Твоей подругой неизменной...»
Но пленник сердца своего
Не мог открыть в тоске глубо-
кой,
И слезы девы черноокой
Души не трогали его...
«Так, русский, ты спасен! но
прежде
Скажи мне: жить иль умереть?!
Скажи, забыть ли о надежде?..
Иль слезы эти утереть?»

XXVII

Тут вдруг поднялся он; блеснули
Его прелестные глаза,
И слезы крупные мелькнули

На них, как светлая роса.
«Ах нет! оставь восторг свой
нежный,
Спаси меня не льстись надеж-
дой;
Мне будет гробом эта степь;
Не на остатках, славных, бран-
ных,
Но на костях моих изгнанных
Заржавит тягостная цепь!»
Он замолчал, она рыдала;
Но ободрилась, тихо встала,
Взяла пилу одной рукой,
Кинжал другою подавала.
И вот, под острою пилой
Скрыпит железо; распадает,
Блестая, цепь и чуть звенит.
Она его приподымает;
И так, рыдая, говорит:

XXVIII

«Да!.. пленник... ты меня забудешь...
Прости!.. прости же... навсегда;
Прости! навек!.. Как счастлив будешь,
Ах!.. вспомни обо мне тогда...
Тогда!.. быть может, уж могилой

Желанной скрыта буду я;
Быть может... скажешь ты уны-
ло:

«Она любила и меня!..»
И девы бледные ланиты,
Почти потухшие глаза,
Смущенный лик, тоской убитый,
Не освежит одна слеза!..
И только рвутся вопли муки...
Она берет его за руки
И в поле темное спешит,
Где чрез утесы путь лежит.

XXIX

Идут, идут; остановились,
Вздыхнув, назад оборотились;
Но роковой ударил час...
Раздался выстрел – и как раз
Мой пленник падает. Не муку,
Но смерть изображает взор;
Кладет на сердце тихо руку...
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Как вместе с ним поражена,
Без чувства падает она;
Как будто пуля роковая
Одним ударом, в один миг,

Обеих вдруг сразила их.

.....

XXX

Но очи русского смыкает
Уж смерть холодною рукой;
Он вздох последний выпускает,
И он уж там – и кровь рекой
Застыла в жилах охладевших;
В его руках оцепеневших
Еще кинжал, блестя, лежит;
В его всех чувствах онемевших
Навеки жизнь уж не горит,
Навеки радость не блестит.

XXXI

Меж тем черкес, с улыбкой злоб-
ной,
Выходит из глуши дерев,
И, волку хищному подобный,
Бросает взор... стоит... без слов.
Ногою гордой попирает
Убитого... увидел он,
Что тщетно потерял патрон;
И вновь чрез горы убегает.

XXXII

Но вот она очнулась вдруг;

И ищет пленника очами.
Черкешенка! где, где твой друг?..
Его уж нет.

Она слезами
Не может ужас выразить,
Не может крови омыть.
И взор ее как бы безумный
Порыв любви изобразил;
Она страдала. Ветер шумный,
Свистя, покров ее клубил!..
Встает... и скорыми шагами
Пошла с потупленной главой,
Через поляну – за холмами
Сокрылась вдруг в тени ночной.

XXXIII

Она уж к Тереку подходит;
Увы, зачем, зачем она
Так робко взором вокруг обводит,
Ужасной грустию полна?..
И долго на бегущи волны
Она глядит. И взор безмолвный
Блестит звездой в полночной
тьме.
Она на каменной скале:
«О, русский! русский!!!» – восклицает.
Плеснули волны при луне,

Об берег брызнули оне!..
И дева с шумом исчезает.
Покров лишь белый выплывает,
Несется по глухим волнам;
Остаток грустный и печальный
Плывет, как саван погребальный,
И скрылся к каменным скалам.

XXXIV

Но кто убийца их жестокой?
Он был с седою бородой;
Не видя девы черноокой,
Сокрылся он в глуши лесной.
Увы! то был отец несчастный!
Быть может, он ее сгубил;
И тот свинец его опасный
Дочь вместе с пленником убил?
Не знает он, она сокрылась,
И с ночи той уж не явилась.
Черкес! где дочь твоя? глядишь,
Но уж ее не возвратишь!!

XXXV

Поутру труп оледенелый
Нашли на пенистых берегах.
Он хладен был, окостенелый;
Казалось, на ее устах
Остался голос прежней муки;

Казалось, жалостные звуки
Еще не смолкли на губах;
Узнали все. Но поздно было!
– Отец! убийца ты ее;
Где упование твое?
Терзайся век! живи уныло!..
Ее уж нет. И за тобой
Повсюду призрак роковой.
Кто гроб ее тебе укажет?
Беги! ищи ее везде!!!
«Где дочь моя?» – и отзыв ска-
жет:

Где?..



Последний сын вольности Повесть

Посвящается Н. С. Шеншину



1

Бывало, для забавы я писал,

Тревожимый младенческой меч-
той;

Бывало, я любовью страдал,
И, с бурною пылающей душой,
Я в ветреных стихах изображал
Таинственных видений милый
рой.

Но дни надежд ко мне не придут
вновь,
Но изменила первая любовь!..

2



И я один, один был брошен в свет,
Искал друзей – и не нашел людей;

Но ты явился: нежный твой при-
вет
Завязку снял с обманутых очей.
Прими ж, товарищ, дружеский
обет,
Прими же песню родины моей,
Хоть эта песнь, быть может,
милый друг, —
Оборванной струны последний
звук!..

*When shall such hero live again?
The Giaour. Byron[9]*

Приходит осень, золотит
Венцы дубов. Трава полей
От продолжительных дождей
К земле прижалась; и бежит
Ловец напрасно по холмам:
Ему не встретит зверя там.
А если даже он найдет,
То ветер стрелы разнесет.
На льдинах ветер тот рожден,
Порывисто качает он
Сухой шиповник на берегах
Ильменя. В сизых облаках
Станицы белых журавлей
Летят на юг до лучших дней;

И чайки озера кричат
Им вслед и вьются над водой,
И звезды ночью не блестят,
Одетые сырою мглой.

Приходит осень! уж стада
Бегут в гостеприимну сень;
Краснея, догорает день
В тумане. Пусть он никогда
Не озарит лучом своим
Густой новгородский дым,
Пусть не надуется вовек
Дыханьем теплым ветерка
Летучий парус рыбака
Над волнами славянских рек!
Увы! пред властью чужой
Склонилась гордая страна,
И песня вольности святой
(Какая б ни была она)
Уже забвенью предана.

Свершилось! дерзостный варяг
Богов славянских победил;
Один неосторожный шаг
Свободный край поработил!
Но есть поныне горсть людей,
В дичи лесов, в дичи степей;
Они, увидев падший гром,

Не перестали помышлять
В изгнание дальнем и глухом,
Как вольность пробудить опять;
Отчизны верные сыны
Еще надеждою полны:
Так, меж грядями темных туч,
Сквозь слезы бури, солнца луч
Увеселяет утром взор
И золотит туманы гор.

На небо дым валит столбом!
Откуда он? Там, где шумит
Поток сердитый, над холмом,
Треща, большой огонь горит,
Пестреет частый лес кругом.
На волчьих кожах, без щитов,
Сидят недвижно у огня,
Молчанье мрачное храня,
Как тени грусти, семь бойцов:
Шесть юношей – один старик.
Они славяне! – бранный клик
Своих дружин им не слышать,
И долго, долго не видать
Им милых ближних... но они
Простились с озером родным,
Чтоб не промчались их дни
Под самовластием чужим,
Чтоб не склоняться вечно в прах,



*Чтоб тени предков, из земли
Восстав, с упреком на устах,*

Тревожить сон их не пришли!..
О! если б только Чернобог
Удару мщения помог!..
Неравная была борьба...
И вот война! и вот судьба!..

«Зачем я меч свой вынимал,
И душу веселила кровь? —
Один из юношей сказал. —
Победы мы не встретим вновь,
И наши имена покрыть
Должно забвенью, может быть;
И несвершенный подвиг наш
Изгладится в умах людей:
Так недостроенный шалаш
Разносит буйный вихрь степей!»
«О! горе нам, — сказал другой, —
Велик, ужасен гнев богов!
Но пусть и на главу врагов
Спадет он гибельной звездой,
Пусть в битве страх обьмет их,
Пушкай падут от стрел своих!»

Так говорили меж собой
Изгнанники. Вот встал один...
С руками, сжатыми крестом,
И с бледным пасмурным челом
На мглу волнистую долин

Он посмотрел, и наконец
Так молвил старику боец:
«Подобно ласке женских рук,
Смягчает горе песни звук.
Так спой же, добрый Ингелот,
О чем-нибудь, о чем-нибудь
Ты спой, чтоб облегчилась грудь,
Которую тоска гнетет.
Пой для других! моя же месть
Их детской жалобы сильней:
Что было, будет и что есть,
Все упадет перед ней!»
«Вадим! – старик ему в ответ, —
Зачем не для тебя?.. иль нет!
Не надо! что ты вверил мне,
Уснет в сердечной глубине!
Другую песню я спою:
Садись и слушай песнь мою!»

И в белых кудрях старика
Играли крылья ветерка,
И вдохновенный взор блеснул,
И песня громко раздалась.
Прерывисто она неслась,
Как битвы отдаленный гул.
Поток, вблизи холма катясь,
Срывая мох с камней и пней,
Согласовал свой ропот с ней,

*И даже призраки бойцов,
Склонясь из дымных облаков,
Внимали с высоты порой
Сей песни дикой и простой!*

ПЕСНЬ ИНГЕЛОТА

1

*Собрались люди мудрые
Вкруг постели Гостомысловой.
Смерть над ним летает коршун-
ном!
Но, махнувши слабою рукой,
Говорит он речь друзьям своим:*

2

*«Ах, вы люди новгородские!
Между вас змея-раздор шипит.
Призовите князя чуждого,
Чтоб владел он краем родины!» —
Так сказал и умер Гостомысл.*

3

*Кривичи, славяне, весь и чудь
Шлют послов за море синее,
Чтобы звать князей варяжских
стран.
«Край наш славен – но порядка
нет!» —*

Говорят послы князьям чужим.

4

*Рурик, Трувор и Синав клялись
Не вести дружины за собой;
Но с зарей блеснуло множество
Острых копий, белых парусов
Сквозь синеющий туман мор-
ской!..*

5

*Обманулись вы, сыны славян!
Чей белеет стан под городом?
Завтра, завтра дерзостный варяг
Будет князем Новагорода,
Завтра будете рабами вы!..*

6

*Тридцать юношей собираются,
Мечь в душе, в глазах отчаянье...
Ночи мгла спустилась на холмы,
Полный месяц встал, и юноши
В спящий стан врагов являются!*

7

*На щиты склонясь, варяги спят,
Луч луны играет по кудрям.
Вот струею потекла их кровь,*

Гибнет враг – но что за громкий
звук?

Чье копьё ударилось о щит?

8

И вскочили пробужденные,
Злоба в крике и движениях!
Долго защищались юноши.
Много пало... только шесть оста-
лось...
Мир костям убитых в поле том!

9

Княжит Рурик в Новегороде,
В диких дебрях бродят юноши;
С ними есть один старик седой —
Он поет о родине святой,
Он поет о милой вольности!

* * *

«Ужель мы только будем петь
Иль с безнадежием немым
На стыд отечества глядеть,
Друзья мои? – спросил Вадим. —
Клянусь, великий Чернобог,
И в первый и в последний раз:
Не буду у варяжских ног.
Иль он, иль я: один из нас

Падет! в пример другим падет!..
Молва об нем из рода в род
Пускай передает рассказ;
Но до конца вражда!» – Сказал,
И на колена он упал,
И руки сжал, и поднял взор,
И страшно взгляд его блеснул,
И темно-красный метеор
Из тучи в тучу пролетел!

И встали и пошли они
Пустынной узкою тропой.
Курился долго дым густой
На том холме, и долго пни
Трещали в медленном огне,
Маня беспечных пастухов,
Пугая кроликов и сов
И ласточек на вышине!..
Скользнув между вечерних туч,
На море лег кровавый луч;
И солнце пламенным щитом
Нисходит в свой подводный дом.
Одни варяжские струи,
Поднявши головы свои,
Любуясь на его закат,
Теснятся, шепчут и шумят;
И серна на крутой скале,
Чернея в отдаленной мгле,

Как дух недвижима, глядит
Туда, где небосклон горит.

Сегодня с этих берегов
В ладью ступило семь бойцов:
Один старик, шесть молодых!
Вадим отважный был меж них.
И белый парус понесло
Порывом ветра, и весло
Ударилось о синий вал.
И в той ладье Вадим стоял
Между изгнанников-друзей,
Подобный призраку морей!
Что думал он, о чем грустил,
Он даже старцу не открыл.
В прощальном, мутном взоре
том
Изобразилось то, о чем
Пересказать почти нельзя.
Так удалялася ладья,
Оставляя пены белый след;
Все мрачен в ней стоял Вадим;
Воспоминаньем прежних лет,
Быть может, витязь был то-
мим...
В какой далекий край они
Отправились, чего искать?
Кто может это рассказать?

Их нет. Бегут толпою дни!..

*На вышине скалы крутой
Растет порой цветок молодой:
И в сердце грозного бойца
Любви есть место. До конца
Он верен чувству одному,
Как верен слову своему.
Вадим любил. Кто не любил?
Кто, вечно следуя уму,
Врожденный голос заглушил?
Как моря вид, как вид степей,
Любовь дика в стране моей...*

*Прекрасна Леда, как звезда
На небе утреннем. Она
Свежа, как южная весна,
И, как пустынный цвет, горда.
Как песня юности, жива,
Как птица вольности, резва,
Как воспоминание детей,
Мила и грустию своей
Младая Леда. И Вадим
Любил. Но был ли он любим?..
Нет! равнодушный Леды взор
Презренья холод оковал:
Отвергнут витязь; но с тех пор
Он все любил, он все страдал.*

До униженья, до мольбы
Он не хотел себя склонить;
Мог презирать удар судьбы
И мог об нем не говорить.
Желал он на другой предмет
Излить огонь страстей своих;
Но память, слезы многих лет!..
Кто устоит противу них?
И рана, легкая сперва,
Была все глубже день со днем,
И утешения слова
Встречал он с пасмурным челом.
Свобода, мщенье и любовь —
Все вдруг в нем волновало кровь:
Старался часто Ингелот
Тревожить пыл его страстей
И полагал, что в них найдет
Он пользу родины своей.
Я не виню тебя, старик!
Ты славянин: суров и дик,
Но и под этой плененой
Ты воспитал огонь святой!..
Когда на челноке Вадим
Помчался по волнам морским,
То показал во взоре он
Души глубокую тоску,
Но ни один прощальный стон
Он не поверил ветерку,

И ни единая слеза
Не отуманила глаза.
И он покинул край родной,
Где игры детства, как могли,
Ему веселье принесли
И где лукавою толпой
Его надежды обошли,
И в мире может только месть
Опять назад его привести.

* * *

Зима сребристой пеленой
Одела горы и луга.
Князь Рурик с силой боевой
Пошел недавно на врага.
Глубоки ранние снега;
На сучьях иней. Звучный лед
Сковал поверхность гладких вод.
Стадами волки по ночам
Подходят к тихим деревням;
Трещит мороз. Шумит метель.
Вершиною качает ель.
С полнеба день на степь глядит
И за туман уйти спешит,
И путник посреди полей
Неверный тщетно ищет путь;
Ему не зреть своих друзей,
Ему холодным сном заснуть,

*И должен сгнить в чужих снегах
Его непогребенный прах!..*

*Откуда зарево блестит?
Не град враждебный ли горит?
Тот город Руриком зажжен.
Но скоро ль возвратится он
С богатой данью? скоро ль меч
Князь вложит в мирные ножны?
И не пора ль ему пресечь
Зловещий, буйный клик войны?*

*Ночь. Темен зимний небосклон.
В Новгороде глубокий сон,
И все объято тишиной;
Лишь лай домашних псов порой
Набегом ветра принесен.
И только в хижине одной
Лучина поздняя горит;
И Леда перед ней сидит
Одна; немолчное давно
Прядет, гудёт веретено
В ее руке. Старуха мать
Над снегом вышла погадать.
И, наконец, она вошла:
Морщины бледного чела
И скорый, хитрый взгляд очей —
Все ужасом дышало в ней.*

В движенъе судорожном рук
Видна душевная борьба.
Ужель бедой грозит судьба?
Ужели ряд жестоких мук
Искусством тайным эту ночь
В грядущем видела она?
Трепещет и не смеет дочь
Спросить. Волшебница мрачна,
Сама в себя погружена.
Пока петух не прокричал,
Старухи бред и чудный стон
Дремоту Леды прерывал,
И краткий сон ей был не в сон!..
И поутру перед окном
Приметили широкий круг,
И снег был весь истоптан в нем,
И долго в городе о том
Ходил тогда недобрый слух.

.....

.....

Шесть раз менялася луна;
Давно окончена война.
Князь Рурик и его вожди
Спокойно ждут, когда весна
Свое дыханье и дожди
Пошлет на белые снега,
Когда печальные луга
Покроют пестрые цветы,

Когда над озером кусты
Позеленеют, и струи
Заблещут пеной молодой,
И в роще Лады в час ночной
Затянут песню соловьи.
Тогда опять поднимут меч,
И кровь соседей станет течь,
И зарево, как метеор,
На тучах испугает взор.
Надеждою обольщена,
Вотще душа славян ждала
Возврата вольности; весна
Пришла, но вольность не пришла.
Их заговоры, их слова
Варяг-властитель презирал;
Все их законы, все права,
Казалось, он пренебрегал.
Своей дружиной окружен,
Перед народ являлся он;
Свои победы исчислял,
Лукавой речью убеждал!
Рука искусного льстеца
Играла глупою толпой;
И благородные сердца
Томились тайною тоской...

И праздник Лады настает:
Повсюду радость! как весной

Из улья мчится шумный рой,
Так в рощу близкую народ
Из Новагорода идет.
Пришли. Из ветвей и цветов
Видны венки на головах,
И звучно песни в честь богов
Уж раздались на берегах
Ильменя синего. Любовь
Под тенью липовых ветвей
Скрывается от глаз людей.
С досадою, нахмуря бровь,
На игры юношей глядеть
Старик не смеет. Седина
Ему не запрещает петь
Про Диди-Ладо. Вот луна
Явилась, будто шар золотой,
Над рощей темной и густой;
Она была тиха, ясна,
Как сердце Леды в этот час...
Но отчего в четвертый раз
Князь Рурик, к липе прислонен,
С нее не сводит светлых глаз?
Какою думой занят он?
Зачем лишь этот хоровод
Его внимание влечет?..

Страшишься, невинная душа!
Страшишься! Пылкий этот взор,

Желаньем, страстию дыша,
Тебя погубит; и позор
Подавит голову твою;
Страшишься, как гибели своей,
Чтобы не молвил он: «Люблю!»
Опасен яд его речей.
Нет сожаленья у князей:
Их ненависть, как их любовь,
Беду вечною грозит;
Насытит первую лишь кровь,
Вторую лишь девичий стыд.

У закоптелого окна
Сидит волшебница одна
И ждет молоденькую дочь.
Но Леды нет. Как быть? Уж ночь;
Сияет в облаках луна!..
Толпа проходит за толпой
Перед окном. Недвижный взгляд
Старухи полон тишиной,
И беспокойства не горят
На ледяных ее чертах;
Но тайны чудной налегло
Клеймо на бледное чело,
И вид ее вселяет страх.
Она с луны не сводит глаз.
Бежит за часом скучный час!..

И вот у двери слышен стук,
И быстро Леда входит вдруг
И падает к ее ногам:
Власы катятся по плечам,
Испугом взор ее блестит.
«Погибла! – дева говорит. —
Он вырвал у меня любовь;
Блаженства не найду я вновь...
Проклятье на него! злодей...
Наш князь!.. Мои мольбы, мой
стон
Презрительно отвергнул он!
О! ты о мне хоть пожалей,
Мать! мать!.. убей меня!.. убей!..»

«Закон судьбы несокрушим;
Мы все ничтожны перед ним», —
Старуха отвечает ей.
И встала, бедная, и тих
Отчаянный казался взор,
И удалилась. И с тех пор
Не вылетал из уст младых
Печальный ропот иль укор.

Всегда с поникшей головой,
Стыдом томима и тоской,
На отуманенный Ильмень
Смотрела Леда целый день

С береговых высоких скал.
Никто ее не узнавал:
Надеждой не дышала грудь,
Улыбки гордой больше нет,
На щеки страшно и взглянуть:
Бледны, как утра первый свет.
Она увяла в цвете лет!..

С жестокой радостью детей
Смеются девушки над ней,
И мать сердито гонит прочь;
Она одна и день и ночь.
Так колос на поле пустом,
Забыв неопытным жнецом,
Стоит под бурей одинок,
И буря гнет мой колосок!..

И раз в туманный, серый день
Пропала дева. Ночи тень
Прошла; еще заря пришла —
Но что ж? заря не привела
Домой красавицу мою.
Никто не знал во всем краю,
Куда сокрылась она;
И смерть, как жизнь ее, темна!..

Жалели юноши об ней,
Проклятья тайные неслись

К властителю; ах! не нашлись
В их душах чувства прежних дней,
Когда за отнятую честь
Мечом бойца платила месть.
Но на земле еще была
Одна рука, чтоб отомстить,
И было сердце, где убить
Любви чужбина не могла!..

Пока надежды слабой свет
Не вовсе тучами одет,
Пока невольная слеза
Еще пытается глаза
Коварной влагой омочить,
Пока мы можем позабыть
Хоть вполовину, хоть на миг
Измены, страсти лет былых,
Как мы любили в те года,
Как сердце билось тогда,
Пока мы можем как-нибудь
От страшной цели отвернуть
Не вовсе углубленный ум,
Как много ядовитых дум
Боятся потревожить нас!
Но есть неизбежный час...
И поздно или рано он
Разрушит жизни сладкий сон,
Завесу с прошлого стащит

И все в грядущем отравит;
Осветит бездну пустоты,
И нас (хоть будет тяжело)
Презреть заставит нам назло
Правдоподобные мечты;
И с этих пор иной обман
Душевных не излечит ран!
Высокий дуб, краса холмов,
Перед явлением снегов
Роняет лист, но вновь весной
Покрыт короной листвою,
И, зеленея в жаркий день,
Прохладную он стелет тень,
И буря вокруг него шумит,
Но великана не свалит;
Когда же пламень громовой
Могучий корень опалит,
То листьев свежую толпой
Он не оденется вовек...
Ему подобен человек!..

* * *

Светает – побелел восход
И озарил вершины гор,
И стал синеть безмолвный бор.
На зеркало недвижных вод
Ложится тень от берегов;
И над болотом, меж кустов,

Огни блудящие спешат
Укрыться от дневных огней;
И птицы озера шумят
Между уютных камышей.
Летит в пустыню черный вран,
И в чашу кроется теперь
С каким-то страхом дикий зверь.
Грядой волнистою туман
Встает между зубчатых скал,
Куда никто не проникал,
Где камни темной пеленой
Уныло кроет мох сырой!..

Взошла заря – зачем? зачем?
Она одно осветит всем:
Она осветит бездну тьмы,
Где гибнем невозвратно мы;
Потери новые людей
Она лукаво озарит,
И сердце каждое лишит
Всех удовольствий прежних дней,
И сожаленья не возьмет,
И вспоминанья не убьет!..

Два путника лесной тропой
Идут под утреннюю мглой
К ущелиям славянских гор:
Заря их привлекает взор,

Играя меж ветвей густых
Берез и сосен вековых.
Один еще во цвете лет,
Другой, старик, и худ и сед.
На них одежды чуждых стран.
На младшем с стрелами колчан
И лук, и ржавчиной покрыт
Его шишак, и меч звенит
На нем, тяжелых мук бразды
И битв давнишние следы
Хранит его чело, но взгляд
И все движенья говорят,
Что не погас огонь святой
Под сей кольчугой боевой...
Их вид суров, и шаг их скор,
И полон грусти разговор:

«Прошу тебя, не уменьшай
Восторг души моей! Опять
Я здесь, опять родимый край
Сужден изгнанника принять;
Опять, как алая заря,
Надежда веселит меня;
И я увижу милый кров,
Где длился пир моих отцов,
Где я мечом играть любил,
Хоть меч был выше детских сил.
Там вырос я, там защищал

Своих богов, свои права,
Там за свободу я бы пал,
Когда бы не твои слова.
Старик! где ж замыслы твои?
Ты зрел ли, как легли в крови
Сыны свободные славян
На берегу далеких стран?
Чужой народ нам не помог,
Он принял правду за предлог,
Гостей врагами почитал.
Старик! старик! кто б отгадал,
Что прах друзей моих уснет
В земле безвестной и чужой,
Что под небесной синевой
Один Вадим да Ингелот
На сердце будут сохранять
Старинной вольности любовь,
Что им одним лишь увидать
Дано свою отчизну вновь?..
Но что ж?.. быть может, наша
весть
Не извлечет слезы из глаз,
Которые увидят нас,
Быть может, праведную месть
Судьба обманет в третий раз!..
Так юный воин говорил,
И влажный взор его бродил
По диким соснам и камням

И по туманным небесам.
«Пусть так! – старик ему в ответ. —

Но через много, много лет
Все будет славиться Вадим;
И грозным именем твоим
Народы устрашат князей,
Как тенью вольности своей.
И скажут: он за милый край,
Не размышляя, пролил кровь,
Он презрел счастье и любовь...
Дивись ему – и подражай!»
С улыбкой горькою боец
Спешил от старца отвернуть
Свои глаза: младую грудь
Печаль давила, как свинец;
Он вспомнил о любви своей,
Невольно сердце потряслось,
И все волнение страстей
Из бледных уст бы излилось,
Когда бы не боялся он,
Что вместо речи только стон
Молчанье возмутит кругом;
И он, поникнувши челом,
Шаги приметно ускорял
И спутнику не отвечал.
Идут – и видят вдруг курган
Сквозь синий утренний туман;

Шиповник и репей кругом,
И что-то белое на нем
Недвижимо в траве лежит.
И дикий коршун тут сидит,
Как дух лесов, на пне большом —
То отлетит, то подлетит;
И вдруг, приметив меж дерев
Вдали нежданных пришлецов,
Он приподнялся на ногах,
Махнул крылом и полетел
И, уменьшаясь в облаках,
Как лодка на море, чернел!..

На том холме в траве густой
Бездушный, хладный труп лежал,
Одетый белой пеленой;
Пустыни ветер ее срывал,
Кудрями длинными играл
И даже не боялся дуть
На эту девственную грудь,
Которая была белей,
Была нежней и холодней,
Чем снег зимы. Закрытый взгляд
Жестокой смертью объят,
И несравненная рука
Уж посинела и жестка...

И к мертвой подошел Вадим...

Но что за перемена с ним? —
Затрясся, побледнел, упал...
И раздался меж ближних скал
Какой-то длинный крик иль
стон...
Похож был на последний он!
И кто бы крик сей услышал,
Наверно б, сам в себе сказал,
Что сердца лучшая струна
В минуту эту порвана!..
О! если бы одна любовь
В душе у витязя жила,
То он бы не очнулся вновь;
Но месть любовь превозмогла.
Он долго на земле лежал
И странные слова шептал,
И только мог понять старик,
Что то родной его язык.
И, наконец, страдалец встал.
«Не все ль я вынес? — он сказал. —
О Ингелот! любил ли ты?
Взгляни на бледные черты
Умершей Леды... посмотри...
Скажи... иль нет! не говори...
Свершилось! я на месть иду,
Я в мире ничего не жду:
Здесь я нашел, здесь погубил
Все, что искал, все, что любил!..»

И меч спешит он обнажить
И начал им могилу рыть.
Старик невольно испустил
Тяжелый сожаленья вздох
И безнадежному помог.
Готов уж смерти тесный дом,
И дерн готов, и камень тут;
И бедной Леды труп кладут
В сырую яму... И потом
Ее засыпали землей,
И дерн покрыл ее сырой,
И камень положен над ним.
Без дум, без трепета, без слез
Последний долг свершил Вадим,
И этот день, как легкий дым,
Надежду и любовь унес.
Он стал на свете сирота.
Душа его была пуста.
Он сел на камень гробовой
И по челу провел рукой;
Но грусть – ужасный властелин:
С чела не сгладил он морщин!
Но сердце билось опять —
И он не мог его унять!..

«Девница! мир твоим костям! —
Промолвил тихо Ингелот. —
Одна лишь цель богами нам



*Дана – и каждый к ней придет;
И жалок и безумец тот,
Кто ропщет на закон судьбы:
К чему? – мы все его рабы!»*

*И оба встали и пошли
И скрылись в голубой дали!..*

.....

*Горит на небе ясный день,
Бегут золотые облака,
Синеет быстрая река,
И ровен, как стекло, Ильмень.*

Из Новагорода народ,
Тесняся, на берег идет.
Там есть возвышенный курган;
На нем священный истукан,
Изображая бога битв,
Белеет издали. Предмет

Благодарений и молитв,
Стоит он здесь уж много лет;
Но лишь недавно князь пред ним
Склонен с почтением немым.
Толпой варягов окружен,
На жертву предлагает он
Добычу счастливой войны.
Песнь раздалась в честь богов;
И груды пышные даров
На холм святой положены!..

Рассыпались толпы людей;
Зажглися пни, и пир шумит,
И Рурик весело сидит
Между седых своих вождей!..
Но что за крик? откуда он?
Кто этот воин молодой?
Кто Рурика зовет на бой?
Кто для погибели рожден?..
В своем заржавом шишаке
Предстал Вадим – булат в руке,



*Как змеи, кудри на плечах,
Отчаянье и месть в очах.
«Варяг! – сказал он. – Выходи!
Свободное в моей груди*

Трепещет сердце... испытай,
Сверши злодейство до конца;
Паденье одного бойца
Не может погубить мой край:
И так уж он у ног чужих,
Забыв победы дней былых!..
Новгородцы! обо мне
Не плачьте... я родной стране
И жизнь и счастье принес...
Не требует свобода слез!»

И он мечом своим взмахнул —
И меч как молния сверкнул;
И речь все души потрясла,
Но пробудить их не могла!..
Вскочил надменный буйный князь
И мрачно также вынул меч,
Известный в буре грозных сеч;
Вскочил – и битва началась.
Кипя, с оружием своим,
На князя кинулся Вадим;
Так над пучиной бурных вод
На легкий челн бежит волна —
И сразу лодку разобьет
Или сама раздроблена.

И долго билися они.
И долго ожиданья страх

*Блестел у зрителей в глазах, —
Но витязя молодого дни
Уж сочтены на Небесах!..*

*Дружины радостно шумят,
И бросил князь довольный взгляд;
Над непреклонной головой
Удар спустился роковой.
Вадим на землю тихо пал,
Не посмотрел, не простонал.
Он пал в крови, и пал один —
Последний вольный славянин!*

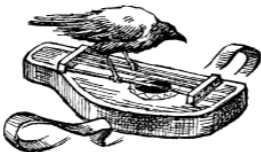
*Когда росистой ночи мгла
На холмы темные легла,
Когда на небе чередой
Являлись звезды и луной
Сребрилась в озере струя,
Через туманные поля
Охотник поздний проходил
И вот что после говорил,
Сидя с женой, между друзей,
Перед лачугою своей:
«Мне чудилось, что за холмом,
Согнувшись, человек стоял,
С трудом кого-то поднимал:
Власы белели над челом;
И, что-то на плеча взвалив,*

Пошел – и показалось мне,
Что труп чернелся на спине
У старика. Поворотив
С своей дороги, при луне
Я видел: в недалекий лес
Спешил с своею ношей он
И наконец совсем исчез,
Как перед утром лживый сон!..»

Над озером видал ли ты,
Жилец простой окрестных сел,
Скалу огромной высоты,
У ног ее зеленый дол?
Уныло желтые цветы
Да можжевельника кусты,
Забыты ветрами, растут
В тени сырой. Два камня тут,
Увявши в землю, из травы
Являют серые главы:
Под ними спит последним сном,
С своим мечом, с своим щитом,
Забыв славянскою страной,
Свободы витязь молодой.

* * *

*A tale of the times of old!..
The deeds of days of other years!..[10]*



Сашка Нравственная поэма



1

Наш век смешон и жалок, – все пиши

*Ему про казни, цепи да изгнанья,
Про темные волнения души,
И только слышишь муки да страданья.*

*Такие вещи очень хороши
Тому, кто мало спит, кто думать любит,
Кто дни свои в воспоминаньях губит.*

*Впадал я прежде в эту слабость сам
И видел от нее лишь вред глазам;
Но нынче я не тот уж, как бывало, —
Пою, смеюсь. Герой мой добрый малый.*

2

Он был мой друг. С ним я не знал хлопот,

С ним чувствами и деньгами делился;

Он брал на месяц, отдавал чрез год,

Но я за то нимало не сердился



*И поступал не лучше в свой черед;
Печален ли, бывало, тотчас ска-
жет,
Когда же весел, счастлив – глаз не
кажет.
Не раз от скуки он свои мечты
Мне поверял и говорил мне «ты»;
Хвалил во мне, что прочие хвали-
ли,
И был мой вечный визави в кадри-
ли.*

3

Он был мой друг. Уж нет таких

друзей...
Мир сердцу твоему, мой милый
Саша!
Пусть спит оно в земле чужих по-
лей,
Не тронута никем, как дружба
наша
В немом кладбище памяти моей.
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная
дума
Еще блуждала на челе твоём,
Когда глаза сомкнулись вечным
сном;
И то, что ты сказал перед кончи-
ной,
Из слушавших не понял ни еди-
ный.

4

И было ль то привет стране род-
ной,
Название ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга —
Как разгадать? Что может в час
такой

Наполнить сердце, жившее так
много
И так недолго с смутною трево-
гой?
Один лишь друг умел тебя по-
нять
И ныне может, должен расска-
зать
Твои мечты, дела и приключенья
—
Глупцам в забаву, мудрым в по-
ученье.

5

Будь терпелив, читатель милый
мой!
Кто б ни был ты: внук Евы иль
Адама,
Разумник ли, шалун ли молодой,
—
Картина будет; это – только ра-
ма!
От правил, утвержденных стари-
ной,
Не отступлю, – я уважаю строго
Всех стариков, а их теперь так
много...
Не правда ль, кто не стар в осьм-

надцать лет,
Тот, верно, не видал людей и свет,
О наслажденьях знает лишь по
слухам
И предан был учителям да му-
кам.

6

Герой наш был москвич, и потому
Я враг Неве и невскому туману.
Там (я весь мир в свидетели возь-
му)
Веселье вредно русскому карману,
Занятъя вредны русскому уму.
Там жизнь грязна, пуста и молча-
лива,
Как плоский берег Финского зали-
ва.
Москва – не то: покуда я живу,
Клянусь, друзья, не разлюбить
Москву.
Там я впервые в дни надежд и сча-
стья
Был болен от любви и любостра-
стья.

7

Москва, Москва!.. люблю тебя,

как сын,
Как русский, – сильно, пламенно и
нежно!
Люблю священный блеск твоих се-
дин
И этот Кремль, зубчатый, безмя-
тежный.
Напрасно думал чуждый власте-
лин
С тобой, столетним русским ве-
ликаном,
Померяться главою и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно пора-
жал
Тебя пришлец; ты вздрогнул – он
упал!
Вселенная замолкла... Величавый,
Один ты жив, наследник нашей
славы.

8

Ты жив!.. Ты жив, и каждый ка-
мень твой —
Заветное преданье поколений.
Бывало, я у башни угловой
Сижусь в тени, и солнца луч осен-
ний
Играет с мохом в трещине сырой,

И из гнезда, прикрытого карни-
зом,
Касатки вылетают, верхом, ни-
зом
Кружатся, вьются, чуждые лю-
дей.
И я, так полный волею страстей,
Завидовал их жизни безызвест-
ной,
Как упованье вольной поднебес-
ной.

9

Я не философ – Боже сохрани! —
И не мечтатель. За полетом
пташки
Я не гонюсь, хотя в былые дни
Не вовсе чужд был глупой сей за-
машки.
Ну, муза, – ну, скорее, – разверни
Запачканный листок свой подо-
рожный!..
Не завирайся, – тот зоил безбож-
ный...
Куда теперь нам ехать из Крем-
ля?
Ворот ведь много, велика земля!
Куда? «На Пресню погоняй, извоз-

чик!»

«Старуха, прочь!.. Сворачивай,
разносчик!»

10

Луна катится в зимних облаках,
Как щит варяжский или сыр гол-
ландской.

Сравненье дерзко, но люблю я
страх

Все дерзости, по вольности дво-
рянской.

Спокойствия рачитель на часах
У будки пробудился, восклицая:
«Кто едет?» – «Муза!» – «Что за
черт! Какая?»

Ответа нет. Но вот уже пруды...
Белеет мост, по сторонам сады
Под инеем пушистым спят уны-
лы;

Луна сребрит железные перилы.

11

Гуляка праздный, пьяный моло-
дец,

С осанкой важной, в фризовой ши-
нели,

Держась за них, бредет – и вот ко-

нец
Перилам. «Всё направо!» Заскрипе-
ли
Полозья по сугробам, как резец
По мрамору... Лачуги, цепью длин-
ной
Мелькая мимо, кланяются чин-
но...
Вдали мелькнул знакомый ого-
нек...
«Держи к воротам... Стой, – су-
гроб глубокий!..
Пойдем по снегу, муза, только
тише,
И платье подними как можно вы-
ше».

12

Калитка – скрип... Двор темен.
По доскам
Идти неловко... Вот насилу сени
И лестница; но снегом по местам
Занесена. Дрожащие ступени
Грозят мгновенно изменить но-
гам.
Взошли. Толкнули дверь – и свет
огарка
Ударил в очи. Толстая кухарка,

*Прищурясь, заграждает путь го-
стям*

И вопрошает: «Что угодно вам?»

*—
И, услышав ответ красноречивый,
Захлопнув дверь, бранится
неучтиво...*

13

*Но, несмотря на это, мы взой-
дем:*

*Вы знаете, для музы и поэта,
Как для хромого беса, каждый
дом*

*Имеет вход особый; ни секрета,
Ни запрещения нет для нас ни в
чем...*

*У столика, в одном углу светли-
цы,*

*Сидели две... девицы – не девицы...
Красавицы... названье тут как
раз!..*

*Чем выгодней, узнать прошу я вас
От наших дам, в деревне и столи-
це*

Красавицею быть или девицей?

14

*Красавицы сидели за столом,
Раскладывая карты, и гадали
О будущем. И ум их видел в нем
Надежды (то, что мы и все вида-
ли).*

*Свеча горела трепетным огнем,
И часто, вспыхнув, луч ее мгно-
венный
Вдруг обливал и потолок и стены.
В углу переднем фольга образов
Тогда меняла тысячу цветов,
И верба, наклоненная над ними,
Блистая вдруг листьями золоти-
ми.*

15

*Одна из них (красавиц) не вполне
Была прекрасна, но зато другая...
О, мы таких видали лишь во сне,
И то заснув – о небесах мечтая!
Слегка головку приклонив к стене
И устремив на столик взор при-
лежный,
Она сидела несколько небрежно.
В ответ на речь подруги иногда
Из уст ее пустое «нет» иль «да»
Едва скользило, если предсказанья
Премудрой карты стоили внима-*

НЪЯ.



16

Она была затейливо мила,
Как польская затейливая панна;
Но вместе с этим гордый вид че-
ла
Казался ей приличен. Как Сусанна,
Она б на суд неправедный пошла
С лицом холодным и спокойным
взором;
Такая смесь не может быть укро-
ром.
В том вы должны поверить мне в
кредит,
Тем боле что отец ее был жид,
А мать (как помню) полька из-
под Праги...
И лжи тут нет, как в том, что
мы – варяги.

17

Когда Суворов Прагу осаждал,
Ее отец служил у нас шпионом,
И раз, как он украдкою гулял
В мундире польском вдоль по ба-
стионам,
Неловкий выстрел в лоб ему по-
пал.
И многие, вздохнув, сказали:

*«Жалкой,
Несчастный жид, – он умер не под
палкой!»*

*Его жена пять месяцев спустя
Произвела на Божий свет дитя,
Хорошенькую Тирзу. Имя это
Дано по воле одного корнета.*

18

*Под рубищем простым она росла
В невежестве, как травка полевая
Проходим не замечена, – ни зла,
Ни гордой добродетели не зная.
Но час настал – пора любви при-
шла.*

*Какой-то смертный ей сказал два
слова:*

*Она в объятья божества земного
Упала; но увы, прошло дней
шесть,*

*Уж полубог успел ей надоесть;
И с этих пор, чтоб избежать
ошибки,*

Она дарила всем свои улыбки...

19

*Мечты любви умчались, как ту-
ман.*

Свобода стала ей всего дороже.
Обманом сердце платит за обман

(Я так слышал, и вы слышали тоже).

В ее лице характер южных стран
Изображался резко. Не наемный
Огонь горел в очах; без цели, томно,

Покрыты светлой влагой, иногда
Они блуждали, как порой звезда
По небесам блуждает, – и, конечно,

Был это знак тоски немой, сердечной.

20

Безвестная печаль сменялась
вдруг

Какою-то веселостью недужной...
(Дай Бог, чтоб всех томил такой недуг!)

Волной вставала грудь, и пламень
южный

В ланитах рделся, белый полукруг
Зубов жемчужных быстро открывался;

Головка поднималась, развивался

*Душистый локон, и на лик мла-
дой
Катился, лоснясь, черною струей;
И ножка, разрезвась, не зная пле-
на,
Бесстыдно обнажалась до колена.*

21

*Когда шалунья навзничь на кро-
вать,
Шутя, смеясь, роскошно упадала,
Не спорю, мудрено ее понять, —
Она сама себя не понимала, —
Ей было трудно сердцу прика-
зать,
Как баловню-ребенку. Надо было
Кому-нибудь с неведомою силой
Явиться и приветливой душой
Его согреть... Явился ли герой
Или вотще остался ожидаем,
Все это мы со временем узнаем.*

22

*Теперь к ее подруге перейдем,
Чтоб выполнить начатую кар-
тину.
Они недавно жили тут вдвоем,
Но души их сливались во едину,*

И мысли их встречались во всем.
О, если б знали, сколько в этом
званье
Сердце отличных, добрых! Но вни-
манье
Увлечено блистаньем модных
дам.
Вздыхая, мы бежим по их сле-
дам...
Увы, друзья, а наведите справки,
Вся прелесть их... в кредит из
модной лавки!

23

Она была свежа, бела, кругла,
Как снежный шарик; щеки, грудь и
шея,
Когда она смеялась или шла,
Дрожали сладострастно; не крас-
нея,
Она на жертву прихоти несла
Свои красы. Широко и неловко
На ней сидела юбка; но плутовка
Поднять умела грудь, открыть
плечо,
Ласкать умела буйно, горячо
И, хитро передразнивая чувства,
Слыла царицей своего искусства...

24

Она звалась Варюшею. Но я
Желал бы ей другое дать назва-
нье:
Скажу ль, при этом имени, дру-
зья,
В груди моей шипит воспомина-
нье,
Как под ногой прижатая змея;
И ползает, как та среди развалин,
По жилам сердца. Я тогда печал-
лен,
Сердит, – молчу или браню весь
дом
И рад прибить за слово чубуком.
Итак, для избежанья зла мы на-
шу
Варюшу здесь перекрестим в Па-
рашу.

25

Увы, минувших лет безумный сон
Со смехом повторить не смеет
лира!
Живой водой печали окроплен,
Как труп давно застывшего вам-
пира,
Грозя перстом, поднялся молча

он,
И мысль к нему прикована... Уже-
ли
В моей груди изгладить не успели
Столь много лет и столько мук
иных —
Волшебный стан и пару глаз боль-
ших?
(Хоть, признаюсь вам, разбирая
строго,
Получше их видал я после много.)

26

Да, много лет и много горьких
мук
С тех пор отяготело надо мною;
Но первого восторга чудный звук
В груди не умирает, – и порою,
Сквозь облако забот, когда недуг
Мой слабый ум томит неугомон-
но,
Ее глаза мне светят благосклон-
но.
Так в час ночной, когда гроза шу-
мит
И бродят облака, – звезда горит
В дали эфирной, не боясь их зло-
сти,

И шлет свои лучи на землю в гости.

27

*Пред нагоревшей сальной свечой
Красавицы, раздумавшись, сидели,
И заставлял их вздрагивать порой
Унылый свист играющей метели.
И как и вам, читатель милый мой,
Им стало скучно... Вот, наместо
знака
Условного, залаяла собака,
И у калитки брякнуло кольцо.
Вот чей-то голос... Идут на
крыльцо...
Параша потянулась и зевнула
Так, что едва не бухнулась со стула,*

28

*А Тирза быстро выбежала вон.
Открылась дверь. В плаще, закидан
снегом,
Явился гость... Насмешливый по
клон
Отвесил и, как будто долгим бе-*

гом

Или волнением был он утомлен,
Упал на стул... Заботливой рукою
Сняла Параша плащ, потом дру-
гою

Стряхнула иней с шелковых куд-
рей

Пришельца. Видно, нравился он
ей...

Все нравится, что молодо, краси-
во

И в чем мы видим прибыль особ-
ливо.

29

Он ловок был, со вкусом был одет,
Изящно был причесан и так дале.
На пальцах перстни изливали
свет,

И галстук надушен был, как на
бале.

Ему едва ли было двадцать лет,
Но бледностью казались покры-
ты

Его чело и нежные ланиты, —
Не знаю, мук ли то последних
след,

Но мне давно знаком был этот

цвет, —

И на устах его, опасней жала
Змеи, насмешка вечная блужда-
ла.

30

Заметно было в нем, что с ран-
них дней
В кругу хорошем, то есть в мод-
ном свете,
Он обжился, что часть своих но-
чей
Он убивал бесплодно на паркете
И что другую тратил не умней...
В глазах его открытых, но пе-
чальных
Нашли бы вы без наблюдений
дальних
Презренье, гордость; хоть он не
был горд,
Как глупый турок иль богатый
лорд,
Но все-таки себя в числе двуногих
Он почитал умнее очень многих.

31

Борьба рождает гордость. Вое-
вать

С людскими предрассудками
труднее,
Чем тигров и медведей поражать
Иль со штыком на вражьей бата-
рее
За белый крестик жизнью риско-
вать...
Клянусь, иметь великий надо ге-
ний,
Чтоб разом сбросить цепь
предубеждений,
Как сбросил бы я платье, если б
вдруг
Из севера Всевышний сделал юг.
Но ныне нас противное пугает:
Неаполь мерзнет, а Нева не тает.

32

Да кто же этот гость?.. Pardon,
сейчас!..
Рассеянность... Monsieur, реко-
мендую:
Герой мой, друг мой – Сашка!..
Жаль для вас,
Что случай свел в минуту вас та-
кую
И в этом месте... Верьте, я не раз
Ему твердил, что эти посещения

О нем дадут весьма дурное мнение.

Я говорил, – он слушал, он был весь

Вниманье... Глядь, а вечером уж здесь!..

И я нашел, что мне его исправить
Труднее в прозе, чем в стихах прославить.

33

Герой мой Сашка тихо развязал
Свой галстук... «Сашка» – старое
названье!

Но «Сашка» тот печати не видал,
И, недозревший, он угас в изгнанье.

Мой Сашка меж друзей своих не
знал

Другого имя, – дурно ль, хорошо
ли,

Разуверять друзей не в нашей воле.

Он галстук снял, рассеянно перстом

Провел по лбу, поморщился, потом

Спросил: «Где Тирза?» – «Дома». –
«Что ж

видно

Ее?» – «Уснула». – «Как ей спать не стыдно!»

34

И он поспешно входит в тот покой,
Где часто с Тирзой пламенные ночи

Он проводил... Все полно тишиной
И сумраком волшебным; прямо в очи

Недвижно смотрит месяц золотой

И на стекле в узоры ледяные
Кидает искры, блески огневые,
И голубым сиянием стена
Игриво и светло озарена.

И он (не месяц, но мой Сашка)
слышит,

В углу на ложе кто-то слабо дышит.

35

Он руку протянул, – его рука
Попала в стену; протянул другую

Ощупал тихо кончик башмачка.
Схватил потом и ножку, но ка-
кую?!

Так миньютюрна, так нежна,
мягка

Казалась эта ножка, что неволь-
но

Подумал он, не сделал ли ей боль-
но.

Меж тем рука все далее ползет,
Вот круглая коленочка... и вот,
Вот – для чего смеетесь вы заране? —

Вот очутилась на двойном кургане...

36

Блаженная минута!.. Закипел
Мой Александр, склонившись к де-
ве спящей.

Он поцелуй на грудь напечатлел
И стан ее обвил рукой дрожащей.
В самозабвенье пылком он не
смел

Дохнуть... Он думал: «Тирза доро-
гая!

И жизнью и чувствами играя,
Как ты, я чужд общественных

связей, —

Как ты, один с свободою моею,
Не знаю в людях ни врага, ни дру-
га, —

Живу, чтоб жить как ты, моя по-
друга!

37

Судьба вчера свела случайно нас,
Случайно завтра разведет навеч-
но, —

Не все ль равно, что год, что день,
что час,

Лишь только б я провел его бес-
печно?..»

И не сводил он ярких черных глаз
С своей жидовки и не знал, каза-
лось,

Что резвое созданье притворя-
лось.

Меж тем почла за нужное она
Проснуться и была удивлена,
Как надлежало... (Страх и удивле-
нье

Для женщин в важных случаях
спасенье.)

38

И, прежде потерев глаза рукой,
Она спросила: «Кто вы?» – «Я,
твой Саша!»
«Неужто?.. Видишь, баловник ка-
кой!
Ступай, давно там ждет тебя
Параша!..
Нет, надо разбудить меня... По-
стой,
Я отомщу». И за руку схватила
Его проворно и... и укусила,
Хоть это был скорее поцелуй.
Да, мерзкий критик, что ты ни
толкуй,
А есть уста, которые украдкой
Кусать умеют сладко, очень
сладко!..

39

Когда бы Тирзу видел Соломон,
То, верно б, свой престол украсил
ею, —
У ног ее и царство, и закон,
И славу позабыл бы... Но не смею
Вас уверять, затем, что не рож-
ден
Владыкой, и не знаю, в низкой до-
ле,

Как люди ценят вещи на престо-
ле;
Но знаю только то, что Сашка
мой
За целый мир не отдал бы порой
Ее улыбку, щечки, брови, глазки,
Достойные любой восточной
сказки.

40

«Откуда ты?» – «Не спрашивай,
мой друг!
Я был на бале!» – «Бал! а что та-
кое?»
«Невежда! это – говор, шум и
стук,
Толпа глупцов, веселье городское,
—
Наружный блеск, обманчивый
недуг;
Кружатся девы, чванятся наря-
дом,
Притворствуют и голосом и
взглядом.
Кто ловит душу, кто пять тысяч
душ...
Все так невинны, но я им не муж.
И как ни уважаю добродетель,

А здесь мне лучше, в том луна свидетель».

41

*Каким-то новым чувством смущена,
Его слова еврейка поглощала.
Сначала показалась ей смешна
Жизнь городских красавиц, но...
сначала.
Потом пришло ей в мысль, что и она
Могла б кружиться ловко пред
толпою,
Терзать мужчин надменной красотой,
В высокие смотреться зеркала
И уязвлять, но не желая зла,
Соперниц гордой жалостью, и в свете
Блестать, и ездить четверней в карете.*

42

*Она прижалась к юноше. Листок
Так жметя к ветке, бурю ожидая.
Стучало сердце в ней, как моло-*

ток,
Уста полураскрытые, пылая,
Шептали что-то. С головы до ног
Она горела. Груды молодые
Как персики являлись наливные
Из-под сорочки... Сашкина рука
По ним бродила медленно, слег-
ка...
Но... есть во мне к стыдливости
вниманье —
И целый час я пропущу в молча-
нье.

43

Все было тихо в доме. Облака
Нескромный месяц, дымкою оде-
ли,
И только раздавались изредка
Сверчка ночного жалобные тре-
ли;
И мышшь в тени родного уголка
Скреблась в обои старые прилеж-
но.
Моя чета, раскинувшись небреж-
но,
Покоилась, не думая о том,
Что небеса грозили близким
днем,

Что ночь... Вы на веку своем едва
ли
Таких ночей десяток насчитали...

44

Но Тирза вдруг молчанье прервала
И молвила: «Послушай, прочь все
шутки!

Какая мысль мне странная при-
шла:

Что если б ты, откинув предрас-
судки

(Она его тут крепко обняла),

Что если б ты, мой милый, мой
бесценный,

Хотел меня утешить совершен-
но,

То завтра или даже в день иной
Меня в театр повез бы ты с со-
бой.

Известно мне, все для тебя воз-
можно,

А отказать в безделице безбож-
но».

45

«Пожалуй!» – отвечал ей Саша.
Он

Из слов ее расслушал половину, —
Его клонил к подушке сладкий
сон,
Как птица клонит слабую тростину.
Блажен, кто может спать! Я был
рожден
С бессонницей. В течение долгой
ночи,
Бывало, беспокойно бродят очи
И жжет подушка влажное чело.
Душа грустит о том, что уж
прошло,
Блуждая в мире вымысла без пи-
щи,
Как лазарони или русский нищий...

46

И жадный червь ее грызет, грызет, —
Я думаю, тот самый, что когда-то
Терзал Саула; но порой и тот
Имел отраду: арфы звук крылатый,
Как ангела таинственный полет,
В нем воскрешал и слезы и надежды;

*И опускались пламенные вежды,
С гармонией сливалась мечта,
И злобный дух бежал, как от креста.*

*Но этих звуков нет уж в поднебесной, —
Они исчезли с арфою чудесной...*

47

*И все исчезнет. Верить я готов,
Что наш безлучный мир – лишь прах могильный
Другого, – горсть земли, в борьбе веков*

*Случайно уцелевшая и сильно
Заброшенная в вечный круг миров.
Светилы ей двоюродные братья,
Хоть носят шлейфы огненного
платья,*

И по сродству имеют в добрый час

*Влиянье благотворное на нас...
А дай сойтись, так заварится каша, —*

*В кулачки, и... прощай планета
наша.*

48

И пусть они блестят до той по-
ры,
Как ангелов вечерние лампы.
Придет конец воздушной их игры,
Печальная разгадка сей шарады...
Любил я с колокольни иль с горы,
Когда земля молчит и небо чи-
сто,
Теряться взором в их цепи огни-
стой, —
И мнится, что меж ними и зем-
лей
Есть путь, давно измеренный ду-
шой, —
И мнится, будто на главу поэта
Стремятся вместе все лучи их
света.

49

Итак, герой наш спит, приятный
сон,
Покойна ночь, а вы, читатель ми-
лый,
Пожалуйте, – иначе принужден
Я буду удерживать вас силой...
Роман, вперед!.. Не идет? Ну, так
он
Пойдет назад. Герой наш спит по-

куда,
Хочу я рассказать, кто он, откуда,
Кто мать его была и кто отец,
Как он на свет родился, наконец,
Как он попал в позорную обитель,
Кто был его лакей и кто учитель.

50

Его отец – симбирский дворянин,
Иван Ильич NN-ов, муж дородный,
Богатого отца любимый сын.
Был сам богат; имел он ум природный
И, что ума полезней, важный чин;
С четырнадцати лет служил и с миром
Уволен был в отставку бригадиром;
А бригадир блаженных тех времен
Был человек и, следовательно, умен.
Иван Ильич наш слыл, по крайней мере,
Любезником в своей симбирской сфере.

51

Он был врагом писателей и книг,
В делах судебных почерпнул по-
знанья.

Спал очень долго, ел за четверых;
Ни на кого не обращал вниманья
И не носил приличия вериг.

Однако же пред знатью гордели-
вой

Умел он гнуться скромно и учти-
во.

Но в этот век учтивости закон
Для исполненья требовал поклон;
А кланяться закону иль вельмо-
же

Считалось тогда одно и то же.

52

Он старших уважал, зато и сам
Почтительность вознаграждал
улыбкой,

И, ревностный хотя угодник дам,
Женился, по словам его, ошибкой.

В чем он ошибся, не могу я вам
Открыть, а знаю только (не со-
врать бы),

Что был он грустен на другой
день свадьбы

И что печаль его была одна

Из тех, какими жизнь мужей полна.

По мне, они большие эгоисты —
Всё жен винят, как будто сами
чисты.

53

Благодари меня, о женский пол!
Я – Демосфен твой: за твою свободу

Я рад шуметь; я непомерно зол
На всю, на всю рогатую породу!
Кто власть им дал?.. Восстаньте,
те, – час пришел!

Я поднимаю знамя возмущенья.
Ура! Сюда все девы! Прочь терпенье!

Конец всему есть! Беззаботно, явно

Идите вслед за Марьей Николавной!

Понять меня, я знаю, вам легко,
Ведь в ваших жилах – кровь, не
молоко,

И вы краснеть умеете уж кста-
ти

От взоров и намеков нашей бра-
тьи.

54

Иван Ильич стерег жену свою
По старому обычаю. Без лести
Сказать, он вел себя, как я люблю,
По правилам тогдашней старой
чести.

Проказница ж жена (не утаю)
Читать любила жалкие романы
Или смотреть на светлый шар
Дианы,
В беседке темной сидя до утра.
А месяц и романы до добра
Не доведут, – от них мечты ро-
дятся...
А искушенью только бы добрать-
ся!

55

Она была прелакомый кусок
И многих дум и взоров стала це-
лью.
Как быть: пчела садится на цве-
ток,
А не на камень; чувствам и весе-
лью
Казенных не назначено дорог.
На брачном ложе Марья Николав-
на

Была, как надо, ласкова, исправна.
Но, говорят (хоть, может быть,
и лгут),
Что долг супруги – только лиш-
ний труд.
Мужья у жен подобных (не в обиду
Будь сказано), как вывеска, для ви-
ду.

56

Иван Ильич имел в Симбирске
дом
На самой на горе, против собора.
При мне давно никто уж не жил в
нем,
И он дряхлел, заброшен без надзо-
ра,
Как инвалид, с Георгьевским кре-
стом.
Но некогда, с кудрявыми главами,
Вдоль стен колонны высились ря-
дами.
Прозрачною решеткой окружен,
Как клетка, между них висел бал-
кон,
И над дверьми стеклянными в по-
рядке
Виднелися гардин прозрачных

складки.

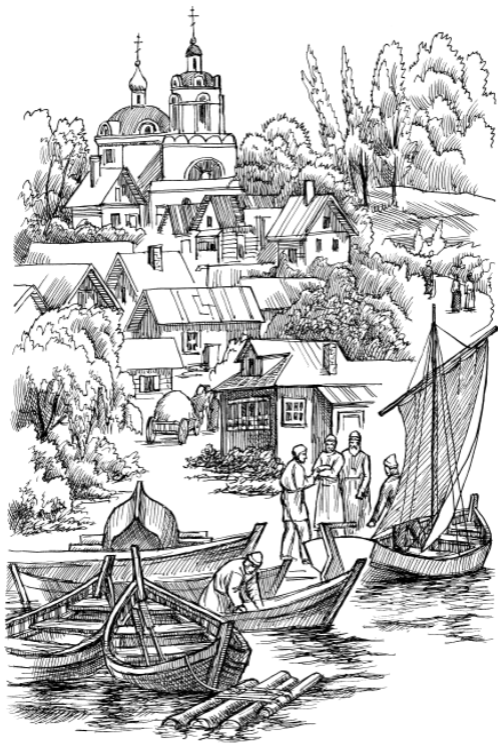
57

Внутри все было пышно; на сто-
лах
Пестрели разноцветные клеенки,
И люстры отражались в зерка-
лах,
Как звезды в луже; моськи и бо-
лонки
Встречали шумно каждого в две-
рях,
Одна другой несноснее, а дале
Зеленый попугай, порхая в зале,
Кричал бесстыдно: «Кто при-
шел?.. Дурак!»
А гость с улыбкой думал: «Как не
так!»

И, ласково хозяйкой принимаем,
Чрез пять минут мирился с попу-
гаем.

58

Из окон был прекрасный вид кру-
гом:
Налево, то есть к западу, рядами
Блистали кровли, трубы и потом



*Меж ними церковь с круглыми
главами,*

*И кое-где в тени – отрада днем —
Уютный сад, обсаженный ряби-
ной,
С беседкою, цветами и малиной,
Как детская игрушка, если вам
Угодно, или как меж знатных
дам
Румяная крестьянка – дочь приро-
ды,
Испуганная блеском гордой моды.*

59

*Под глинистой утесистой горой,
Унизированной лачужками, направо,
Катилась широкой пеленой
Родная Волга, ровно, величаво...
У пристани двойною чередой
Плоты и барки, как табун, тесни-
лись,
И флюгера на длинных мачтах
бились,
Жужжа на ветре, и скрипел ка-
нат
Натянутый; и, серой мглой объ-
ят,
Виднелся дальний берег, и белели
Вкруг острова края песчаной ме-
ли.*

60

Нестройный говор грубых голосов
Между судов перебегал порою;
Смех, песни, брань, протяжный
крик пловцов —

Все в гул один сливалось над во-
дою.

И Марья Николавна, хоть суров
Казался ветер и день был на зака-
те,

Накинув шаль или капот на вате,
С французской книжкой, часто,
сев к окну,

Следила взором сизую волну,
Прибрежных струй приливы и от-
ливы,

Их мерный бег, их золотые гривы.

61

Два года жил Иван Ильич с же-
ной,

И все не тесны были ей корсеты.

Ее ль сложенье было в том виной
Или его немолодые леты?..

Не мне в делах семейных быть су-
дьей!

Иван Ильич иметь желал бы сы-
на

*Законного: хоть правом дворяни-
на*

*Он пользовался часто, но детей,
Вне брака прижитых, злодей,
Раскидывал по свету, где случит-
ся,
Страшась с своей деревней пород-
ниться.*

62

*Какая сладость в мысли: я отец!
И в той же мысли сколько муки
тайной —*

*Оставить в мире след и, наконец,
Исчезнуть! Быть злодеем, и слу-
чайно, —*

*Злодеем потому, что жизнь — ве-
нец*

*Терновый, тяжкий, — так, по край-
ней мере,*

*Должны мы рассуждать по на-
шей вере...*

*К чему, куда ведет нас жизнь, о
том*

*Не с нашим бедным толковать
умом;*

*Но исключая два-три дня да дет-
ство,*

Она, бесспорно, скверное наследство.

63

Бывало, этой думой удручен,
Я прежде много плакал, и слезами
Я жег бумагу. Детский глупый сон
Прошел давно, как туча над степями;
Но пылкий дух мой не был освежен,
В нем родилися бури, как в пустыне,
Но скоро улеглись они, и ныне
Осталось сердцу, вместо слез,
бурь тех,
Один лишь отзыв – звучный, горький смех...
Там, где весной белел поток игривый,
Лежат кремни – и блещут, но не живы!

64

Прилично б было мне молчать о том,
Но я привык идти против прили-

чий
И, говоря всеобщим языком,
Не жду похвал. Поэт породы пти-
чей,
Любовник роз, над розовым ку-
стом
Урчит и свищет меж листов ду-
шистых.
Об чем? Какая цель тех звуков чи-
стых?
Прошу хоть раз спросить у соло-
вья.
Он вам ответит песнью... Так и я
Пишу, что мыслю, мыслю, что
придется,
И потому мой стих так плавно
льется.

65

Прошло два года. Третий год
Обрадовал супругов безнадежных:
Желанный сын, любви взаимной
плод,
Предмет забот мучительных и
нежных,
У них родился. В доме весь народ
Был восхищен, и три дня были
пьяны

*Все на подбор, от кучера до няни.
А между тем печально у ворот
Всю ночь собаки выли напролет,
И, что страшнее этого, ребенок
Весь в волосах был, точно медве-
жонок.*

66

*Старухи говорили: это знак,
Который много счастья обеща-
ет.
И про меня сказали точно так,
А правда ль это вышло? – Небо
знает!
К тому же полуночный вой собак
И страшный шум на чердаке вы-
соком —
Приметы злые, но, не быв проро-
ком,
Я только покачаю головой.
Гамлет сказал: «Есть тайны под
луной
И для премудрых», – как же мне,
поэту,
Не верить можно тайнам и Гам-
лету?..*

67

Младенец рос милее с каждым
днем:
Живые глазки, белые ручонки
И русый волос, вьющийся коль-
цом, —
Пленяли всех знакомых; уж пленен-
ки
Рубашечкой сменилися на нем;
И, первые проказы начиная,
Уж он дразнил собак и попугая...
Года неслись, а Саша рос, и в пять
Добро и зло он начал понимать;
Но, верно, по врожденному влече-
нию,
Имел большую склонность к раз-
рушенью.

68

Он рос... Отец его бранил и сек —
Затем, что сам был с детства
часто сечен,
А, слава Богу, вышел человек:
Не стыд семьи, не туп, не изуве-
чен.
Понятья были низки в старый
век...
Но Саша с гордой был рожден ду-
шою

И желчного сложенья, – пред судь-
бою,
Перед бичом язвительной молвы
Он не склонял и после головы.
Умел он помнить, кто его обидел,
И потому отца возненавидел.

69

Великий грех!.. Но чем теплее
кровь,
Тем раньше зреют в сердце беспо-
койном
Все чувства – злоба, гордость и
любовь,
Как дерева под небом юга зной-
ным.
Шалун мой хмурил маленькую
бровь,
Встречаясь с нежным папенькой;
от взгляда
Он вздрагивал, как будто б капля
яда
Лилась по жилам. Это, может
быть,
Смешно, – что ж делать! – он не
мог любить,
Как любят все гостинные собачки
За лакомства, побои и подачки.

70

Он был дитя, когда в тесовый
гроб
Его родную с пеньем уложили.
Он помнил, что над нею черный
поп
Читал большую книгу, что кади-
ли,
И прочее... и что, закрыв весь лоб
Большим платком, отец стоял в
молчанье.
И что когда последнее лобзанье
Ему велели матери отдать,
То стал он громко плакать и кри-
чать,
И что отец, немного с ним поспо-
ря,
Велел его посечь... (конечно, с го-
ря).

71

Он не имел ни брата, ни сестры,
И тайных мук его никто не ведал.
До времени отвыкнув от игры,
Он жадному сомненью сердце пре-
дал,
И, презрев детства милые дары,
Он начал думать, строить мир

воздушный
И в нем терялся мыслью послуш-
ной.
Таков средь океана островок:
Пусть хоть прекрасен, свеж, но
одинок;
Ладьи к нему с гостями не при-
станут,
Цветы на нем от зноя все увя-
нут...

72

Он был рожден под гибельной
звездой,
С желаньями безбрежными, как
вечность.
Они так часто спорили с душой
И отравили лучших дней беспеч-
ность.
Они летали над его головой,
Как царская корона; но без власти
Венец казался бременем, и стра-
сти,
Впервые пробудясь, живым огнем
Прожгли алтарь свой, не найдя
кругом
Достойной жертвы, – и в пустыне
света

На дружный зов не встретил он
ответа.

73

О, если б мог он, как бесплотный
дух,
В вечерний час сливаться с обла-
ками,
Склонять к волнам кипучим жад-
ный слух,
И долго упиваться их речами,
И обнимать их перси, как супруг!
В глуши степей дышать со всей
природой
Одним дыханьем, жить ее свобо-
дой!
О, если б мог он, в молнию одет,
Одним ударом весь разрушить
свет!..
(Но, к счастью для вас, читатель
милый,
Он не был одарен подобной силой.)

74

Я не берусь вполне, как психолог,
Характер Саши выставить нару-
жу
И вскрыть его, как с трюфлями

пирог.
Скорей судьей молчаньем я прину-
жу
К решению... Пусть суд их будет
строг!
Пусть журналист всеведущий
хлопочет,
Зачем тот плачет, а другой захо-
чет!..
Пусть скажет он, что бесом
одержим
Был Саша, – я и тут согласен с
ним,
Хотя, боюсь, приятель мой, по-
веса,
Взбесил бы иногда любого беса.

75

Его учитель чистый был француз,
Marquis de Tess[11]. Педант полу-
забавный,
Имел он длинный нос и тонкий
вкус
И потому брал деньги преисправ-
но.
Покорный раб губернских дам и
муз,
Он сочинял сонеты, хоть порою

*По часу бился с рифмою одною;
Но каламбуров полный лексикон,
Как талисман, носил в карманах
он
И, быв уверен в дамской благода-
ти,
Не размышлял, что́ кстати, что́
некстати.*

76

*Его отец богатый был маркиз,
Но жертвой стал народного вол-
нения:
На фонаре однажды он повис,
Как было в моде, вместо украше-
нья.
Приятель наш, парижский Адо-
нис,
Оставив прах родителя судьбине,
Не поклонился гордой гильотине:
Он молча проклял вольность и
народ,
И натошак отправился в поход,
И наконец, едва живой от муки,
Пришел в Россию поощрять нау-
ки.*

77

И Саша мой любил его рассказ
Про сборища народные, про шум-
ный
Напор страстей и про последний
час
Венчанного страдальца... Над
безумной
Парижскою толпою много раз
Носилося его воображенье:
Там слышал он святых голов па-
денье,
Меж тем как нищих буйный мил-
лион
Кричал, смеясь: «Да здравствует
закон!» —
И, в недостатке хлеба или злата,
Просил одной лишь крови у Мара-
та.

78

Там видел он высокий эшафот;
Прелестная на звучные ступени
Всходила женщина... Следы за-
бот,
Следы живых, но тайных угрызе-
ний
Виднелись на лице ее. Народ
Рукоплескал... Вот кудри золотые

*Посыпались на плечи молодые;
Вот голова, носившая венец,
Склонилась на плаху... О, творец!
Одумайтесь! Еще момент, зло-
деи!..
И голова оторвана от шеи...*

79

*И кровь с тех пор рекою потекла,
И загремела жадная секира...
И ты, поэт, высокого чела
Не уберег! Твоя живая лира
Напрасно по вселенной разнесла
Все, все, что ты считал своей ду-
шою, —
Слова, мечты с надеждой и тос-
кою...
Напрасно!.. Ты прошел кровавый
путь,
Не отомстив, и творческую грудь
Ни стих язвительный, ни смех хо-
лодный
Не посетил – и ты погиб бесплод-
но...*

80

*И Франция упала за тобой
К ногам убийц, бездушных и ни-*

чтожных.

Никто не смел возвысить голос
свой;

Из мрака мыслей гибельных и
ложных

Никто не вышел с твердою ду-
шой, —

Меж тем как втайне взор Напо-
леона

Уж зрел ступени будущего тро-
на...

Я в этом тоне мог бы продол-
жать,

Но истина – не в моде, а писать
О том, что было двести раз в га-
зетах,

Смешно, тем боле об таких пред-
метах.

81

К тому же я совсем не моралист

—
Ни блага в зле, ни зла в добре не
вижу,

Я палачу не дам похвальный лист,
Но клеветой героя не унижу, —

Ни плеск восторга, ни насмешки
свист

Не созданы для мертвых. Царь
иль воин,
Хоть он отличья иногда достоин,
Но, верно, нам за тяжкий мавзо-
лей
Не благодарен в комнатке своей
И, длинным одам внемля понево-
ле,
Зевая вспоминает о престоле.

82

Я прикажу, кончая дни мои,
Отнести свой труп в пустыню, и
высокий
Курган над ним насыпать, и –
любви
Символ ненарушимый – одинокий
Поставить крест: быть может,
издали,
Когда туман протянется в доли-
не
Иль свод небес взбунтуется, к вер-
шине
Гостеприимной нищий пешеход,
Его заметив, медленно придет
И, отряхнувши посох, безнадеж-
ней
Вздохнет о жизни будущей и

83

И проклянет, склонясь на крест
святой,
Людей и небо, время и природу, —
И проклянет грозы бессильный
вой
И пылких мыслей тщетную сво-
боду...
Но нет, к чему мне слушать плач
людской?
На что мне черный крест, курган,
гробница?
Пусть отдадут меня стихиям!
Птица,
И зверь, огонь, и ветер, и земля
Разделят прах мой, и душа моя
С душой вселенной, как эфир с
эфиром,
Сольется и развеется над ми-
ром!..

84

Пускай от сердца, полного тоской
И желчью тайных тщетных со-
жалений,
Подобно чаше, ядом налитой,

Следов не остается... Без волне-
ний

Я вылил яд по капле, ни одной
Не уронил; но люди не видали
В лице моем ни страха, ни печали
И говорили хладно: он привык.
И с той поры я облил свой язык
Тем самым ядом и по праву ме-
сти
Стал унижать толпу под видом
лести...

85

Но кончим этот скучный эпизод
И обратимся к нашему герою.
До этих пор он не имел забот
Житейских и невинною душою
Искал страстей, как пищи. Длин-
ный год
Провел он средь тетрадей, книг,
историй,
Грамматик, географий и теорий
Всех философий мира. Пять си-
стем
Имел маркиз, а на вопрос: зачем?

—
Он отвечал вам гордо и свободно:
«Monsieur, c'est mon affaire»[12] –

так мне угодно!

86

*Но Саша не внимал его словам, —
Рассеянно в тетради над строка-
ми
Его рука чертила здесь и там
Какой-то женский профиль, и оча-
ми,
Горящими подобно двум звездам,
Он долго на него взирал и нежно
Вздыхал и хоронил его прилежно
Между листов, как тайный ми-
лый клад,
Залог надежд и будущих наград,
Как прячут иногда сухую травку,
Перо, записку, ленту иль булав-
ку...*

87

*Но кто ж она? Что пользы ей
вскружить
Неопытную голову, впервые
Сердечный мир дыханьем возму-
тить
И взволновать надежды огневые?
К чему?.. Он слишком молод,
чтоб любить*

Со всем искусством древнего Фоблаза.
Его любовь, как снег вершин Кавказа,
Чиста, тепла, как небо южных стран...
Ему ль платить обманом за обман?..
Но кто ж она? Не модная вертушка,
А просто дочь буфетчика,
Маврушка...

88

И Саша был четырнадцати лет.
Он привыкал (скажу вам под секретом,
Хоть важности большой во всем том нет)
Толкаться меж служанок. Часто летом,
Когда луна бросала томный свет
На тихий сад, на свод густых акаций,
И с шепотом толпа домашних граций
В аллее кралась, – легкою стопой
Он догонял их; и, шутя, порой

*Его невинность (вы поймете сами)
Они дразнили дерзкими перстами.*

89

*Но между них он отличал одну:
В ней было все, что увлекает душу,
Волнует мысли и мешает сну.
Но я, друзья, покой ваш не нарушу
И на портрет накину пелену.
Ее любил мой Саша той любовью,
Которая по жилам с юной кровью
Течет огнем, клокочет и кипит.
Боролись в нем желание и стыд;
Он долго думал, как в любви открыться. —
Но надобно ж на что-нибудь решиться.*

90

*И мудрено ль? Четырнадцать лет
Я сам страдал от каждой женской рожки
И простодушно уверял весь свет,
Что друг на дружку все они похожи.*

жи.

Волнующихся персей нежный
цвет

И алых уст горячее дыханье

Во мне рождали чудные желанья;

Я трепетал, когда моя рука

Атласных плеч касалась слегка,

Но лишь в мечтах я видел без по-
крова

Все, что для вас, конечно, уж не
ново...

91

Он потерял и сон и аппетит,

Молчит весь день и часто бредит
ночь,

По коридору бродит и грустит

И ждет, чтоб показалась Евы
дочь,

Чтоб ясный взор мелькнул... Суро-
вый вид

Приняв, он иногда улыбкой хлад-
ной

Отвечивал на взор ее отрад-
ный...

Любовь же неизбежна, как судьба,
А с сердцем страх невыгодна
борьба!

Итак, мой Саша кончил с ним во-
зиться
И положил с Маврушей объяс-
ниться.

92

Случилось это летом, в знойный
день.
По мостовой широкими клубами
Вилась пыль. От труб высоких
тень
Ложилась на крышах полосами,
И пар с камней струился. Сон и
лень
Вполне Симбирском овладели; да-
же
Катилась Волга медленней и гла-
же.
В саду, в беседке темной и сырой,
Лежал полураздетый наш герой
И размышлял о тайне съединенья
Двух душ – предмет, достойный
размышленья.

93

Вдруг слышит он направо, за ку-
стом
Сирени, шорох платья и дыханье

Волнующейся груди, и потом
Чуть внятный звук, похожий на
лобзанье.
Как Саше быть? Забилося сердце в
нем,
Запрыгало... Без дальних опасений
Он сквозь кусты пустился легче
тени.
Трещат и гнутся ветви под рукой.
И вдруг пред ним, с Маврушкой
молодой
Обнявшись в тени цветущей виш-
ни,
Иван Ильич... (Прости ему Все-
вышний!)

94

Увы! покоясь на траве густой,
Проказник старый обнимал бес-
стыдно
Упругий стан под юбкою простой
И не жалел ни ножки миловид-
ной,
Ни круглых персей, дышащих вес-
ной!
И долго, долго бился, но напрасно!
Огня и сил лишен уж был
несчастный.

Он встал, вздохнул (нельзя же не
вздохнуть),
Поправил брюки и пустился в
путь,
Оставив тут обманутую деву,
Как Ариадну, преданную гневу.

95

И есть за что, не спорю... Между
тем
Что делал Саша? С неподвижным
взглядом,
Как белый мрамор холоден и нем,
Как Аббадона грозный, новым
адам
Испуганный, но помнящий эдем,
С понишкой стоял он головою,
И на челе, наморщенном тоскою,
Качались тени трепетных вет-
вей...
Но вдруг удар проснувшихся стра-
стей
Перевернул неопытную душу,
И он упал как с неба на Маврушу.

96

Упал! (Прости невинность!) Как
змея,

Маврушу крепко обнял он руками,
То холодея, то как жар горя,
Неистово впился в нее устами
И обезумел... Небо и земля
Слились в туман. Мавруша про-
стонала
И улыбнулась; как волна, встава-
ла
И упала грудь, и томный взор,
Как над рекой безлучный метеор,
Блуждал вокруг без цели, без пред-
мета,
Боясь всего: людей, деревьев и света...

97

Теперь, друзья, скажите напра-
мик,
Кого винить?.. По мне, всего пре-
красней
Сложить весь грех на черта, – он
привык
К напраслине; к тому же безопас-
ней
Рога и когти, чем иной язык...
Итак, заметим мы, что дух
незримый,
Но гордый, мрачный, злой, не от-
разимый

Ни ладаном, ни бранью, ни крестом,
Играл судьбою Саши, как мячом,
И, следуя пустейшему капризу,
Кидал его то вкось, то вверх, то
книзу.

98

Два месяца прошло. Во тьме ночной,
На цыпочках по лестнице ступая,
В чепце, платок накинув шерстяной,
Являлась к Саше дева молодая;
Задув лампаду, трепетной рукой
Держась за спинку шаткую кровати,
Она искала жарких там объятий.
Потом, на мягкий пух привлеченная,
Под одеяло пряталась она;
Тяжелый вздох из груди вырывался,
И в жарких поцелуях он сливался.

99

Казалось, рок забыл о них. Но раз
(Не помню я, в который день неде-

ли), —
Уж пролетел давно свиданья час,
А Саша все один был на постели.
Он сел к окну в раздумье. Тихо гас
На бледном своде месяц серебри-
стый,
И неподвижно бахромой волни-
стой
Вокруг его висели облака.
Дремало все, лишь в окнах изредка
Являлась свечка, силуэт рубча-
тый
Старухи, из картин Рембрандта
взятый,

100

Мелькая, рисовался на стекле
И исчезал. На площади пустын-
ной,
Как чудный путь к неведомой
земле,
Лежала тень от колокольни
длинной,
И даль сливалась в синеватой
мгле.
Задумчив Саша... Вдруг скрипнули
двери,
И вы б сказали – поступь райской

*пери
Послышалась. Невольно наш ге-
рой
Вздрыгнул. Пред ним, озарена лу-
ной,
Стояла дева, опустивши очи,
Бледнее той луны – царицы ночи...*

101

*И он узнал Маврушу. Но – творец!
—
Как изменилось нежное создание!
Казалось, тело изваял резец,
А Бог вдохнул не душу, но страда-
нье.
Она стоит, вздыхает, наконец
Подходит и холодными руками
Хватает руку Саши, и устами
Прижалась к ней, и слезы потекли
Все больше, больше и, казалось,
жгли
Ее лицо... Но кто не зрел картины
Раскаянья преступной Магдали-
ны?*

102

*И кто бы смел изобразить в сло-
вах,*

Что дышит жизнью в красках
Гвидо-Рени?
Гляжу на дивный холст: душа в
очах,
И мысль одна в душе, – и на коле-
ни
Готов упасть, и непонятный
страх,
Как струны лютни, потрясает
жилы;
И слышишь близость чудной тай-
ной силы,
Которой в мире верует лишь
тот,
Кто как в гробу в душе своей жи-
вет,
Кто терпит все упреки, все печա-
ли,
Чтоб гением глупцы его назвали.

103

И долго молча плакала она.
Рассыпавшись на кругленькие пле-
чи,
Ее власы бежали, как волна.
Лишь иногда отрывистые речи,
Отзыв того, чем грудь была пол-
на,

*Блуждали на губах ее; но звуки
Яснее были слов... И голос муки
Мой Саша понял, как язык родной;
К себе на грудь привлек ее рукой
И не щадил ни нежностей, ни лас-
ки,
Чтоб поскорей добраться до раз-
вязки.*

104

*Он говорил: «К чему печаль твоя?
Ты молода, любима, – где ж стра-
данье?
В твоих глазах – мой мир, вся
жизнь моя,
И рай земной в одном твоём лоб-
занье...
Быть может, злобу хитрую тая,
Какой-нибудь... Но нет! И кто же
смеет
Тебя обидеть? Мой отец дряхле-
ет,
Француз давно не годен никуда...
Ну, полно! слезы прочь, и ляг сю-
да!»
Мавруша, крепко Сашу обнимая,
Так отвечала, медленно вздыхая:*

105

«Послушайте, я здесь в последний раз.

Пренебрегла опасность, наказание,

Стыд, совесть – все, чтоб только видеть вас,

Поцеловать вам руки на прощанье

И выманить слезу из ваших глаз.

Не отвергайте бедную, – довольно

Уж я терплю, – но что же?.. Сердце вольно...

Иван Ильич проведаль от людей завистливых... Все Ванька ваш, злодей, —

Через него я гибну... Все готово!

Молю!.. о, киньте мне хоть взгляд, хоть слово!

106

*Для вашего отца впервые я
Забыла стыд, – где у рабы защита?*

*Грозил он ссылкой, Бог ему судья!
Прошла неделя, – бедная забыта...*

А все любить другого ей нельзя.

Вчера меня обидными словами

Он разбранил... Но что же перед

вами?
Раба? игрушка!.. Точно: день, два,
три
Мила, а там? – пожалуй, хоть
умри!..»
Тут начались слезы, восклицанья,
Но Саша их оставил без вниманья.

107

«Ах, барин, барин! Вижу я, понять
Не хочешь ты тоски моей сердеч-
ной!..
Прощай, – тебя мне больше не ви-
дать,
Зато уж помнить буду вечно, веч-
но...
Виновны оба, мне ж должно стра-
дать.
Но, так и быть, целуй меня в
грудь, в очи, —
Целуй, где хочешь, для последней
ночи!..
Чем свет меня в кибитке увезут
На дальний хутор, где Маврушу
ждут
Страданья и мужик с косматой
бородою...
А ты? – вздохнешь и слюбишься с

другую!»

108

*Она заплакала. Так или нет
Изгнанница младая говорила,
Я утверждать не смею; двух,
трех лет
Достаточно губительная сила,
Чтобы святейших слов загла-
дить след.*

*А тот, кто рассказал мне по-
весть эту, —
Его уж нет... Но что за нужда
свету?*

*Не веры я ищу, — я не пророк,
Хоть и стремлюсь душою на Во-
сток,
Где свиньи и вино так ныне редки
И где, как пишут, жили наши
предки!*

109

*Она замолкла, но не Саша: он
Кипел против отца негодованьем:
«Злодей! тиран!» — и тысячу
имен,
Таких же милых, с истинным вни-
маньем*

Он расточал ему. Но счастья сон,
Как ни бранись, умчался невоз-
вратно...

Уже готов был юноша разврат-
ный

В последний раз на ложе пуховом
Вкусить восторг, в забытии
немом

Уж и она, пылая в расслабленье
Раскинулась, как вдруг – о, прови-
денье! —

110

Удар ногою с треском растворил
Стеклянной двери обе половины,
И ночника луч бледный озарил
Живой скелет вошедшего мужчи-
ны.

Казалось, в страхе с ложа он вско-
чил, —

Растрепан, босиком, в одной ру-
башке, —

Вошел и строго обратился к Саш-
ке:

«Eh bien, monsieur, que vois-je?» —

«Ah, c'est

ous!»

«Pourquoi ce bruit? Que faites-vous donc?»

«Je

f(...)!»[13]

*И, молвив так (пускай простит
мне муза),
Одним тузом он выгнал вон
француза.*

111

*И вслед за ним, как лань кавказ-
ских гор,
Из комнаты пустилася бедняж-
ка,
Не распротясь, но кинув нежный
взор,
Закрыв лицо руками... Долго Саш-
ка
Не мог унять волнение сердца.
«Вздор, —
Шептал он, – вздор: любовь не
жизнь!» Но утро,
Подернув тучки блеском перла-
мутра,
Уж начало заглядывать в окно,
Как милый гость, ожидаанный
давно,
А на дворе, унылый и докучный,*

Раздался колокольчик однозвучный.

112

К окну с волнением Сашка подбежал:

Разгонных тройка у крыльца
большого.

Вот сел ямщик и возжжи подобрал;

Вот чей-то голос: «Что же, все готово?»

«Готово». Вот садится... Он узнал:

Она!.. В чепце, платком окутав шею,

С обычною улыбкою своею,

Ему кивнула тихо головой

И спряталась в кибитку. Бич лихой

Взвился. «Пошел!»... Колесы застучали...

И вмиг... Но что нам до чужой печали?

113

Давно ль?.. Но детство Саши протекло.

*Я рассказал, что знать вам было
нужно...*

*Он стал с отцом браниться: не
могло*

*И быть иначе, – нежностью на-
ружной*

*Обманывать он почитал за зло,
За низость, – но правдивой мести
знаки*

*Он не щадил (хотя б дошло до
драки).*

*И потому родитель, рассчитав,
Что укрощать не стоит этот
нрав,*

*Сынка, рыдая, как мы все умеем,
Послал в Москву с французом и
лакеем.*

114

*И там проказник был препоручен
Старухе тетке самых строгих
правил.*

*Свет утверждал, что резвый Ку-
пидон*

*Ее краснеть ни разу не заставил.
Она была одна из тех княжон,
Которые, страшась святого бра-
ка,*

Не смеют дать решительного
знака
И потому в сомненье ждут да
ждут,
Покуда их на вист не позовут,
Потом остаток жизни, как уме-
ют,
За картами клеветуют и желте-
ют.

115

Но иногда какой-нибудь лакей,
Усердный, честный, верный, остро-
рожный,
Имея вход к владычице своей
Во всякий час, с покорностью воз-
можной
В уютной спальне заменяет ей
Служанку, то есть греет одеяло,
Подушки, руки, ноги... Разве мало
Под мраком ночи делается дел,
Которых знать и черт бы не хо-
тел,
И если бы хоть раз он был свиде-
тель,
Как сладко спит седая доброде-
тель.

116

Шалун был отдан в модный пансион,
Где много приобрел прекрасных правил.
Сначала пристрастился к книгам он,
Но скоро их с презрением оставил.
Он увидал, что дружба, как поклон —
Двусмысленная вещь; что добрый малый —
Товарищ скучный, тягостный и вялый;
Чуть умный – и забавней и сносней,
Чем тысяча услужливых друзей.
И потому (считая только явных)
Он нажил в месяц сто врагов забавных.

117

И снимок их, как памятник святой,
На двух листах, раскрашенный отлично,
Носил всегда он в книжке записной,
Обернутой атласом, как прилич-

но,
С стальным замком и розовой
каймай.
Любил он заговоры злобы тайной
Расстроить словом, будто бы
случайно;
Любил врагов внезапно удивлять,
На крик и брань – насмешкой от-
вечать
Иль, притворясь рассеянным
невеждой,
Ласкать их долго тщетною на-
деждой.

118

Из пансиона скоро вышел он,
Наскуча все твердить азы да бу-
ки,
И наконец в студенты посвящен,
Вступил надменно в светлый
храм науки.
Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О Боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый
ром;
Их гордый вид пред гордыми вла-

стями,
Их сюртуки, висящие клочками.

119

Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый.
Кто ночь провел с лампадой средь трудов,
Кто в грязной луже, Вакхом упоенный;
Но все равно задумчивы, без слов
Текут... Пришли, шумят... Профессор длинный
Напрасно входит, кланяется чинно, —
Он книгу взял, раскрыл, прочел... шумят;
Уходит, – втрое хуже. Сущий ад!..
По сердцу Сашке жизнь была такая,
И этот ад считал он лучше рая.

120

Пропустим года два... Я не хочу
В один прием свою закончить повесть.
Читатель знает, что я с ним шу-

чу,
И потому моя спокойна совесть,
Хоть, признаюсь, много пропущу
Событий важных, новых и чудес-
ных.
Но час придет, когда, в пределах
тесных
Не заключен и не спеша вперед,
Чтоб сократить унылый эпизод,
Я снова обращаю внимание ваше
На те года, потраченные Сашей...

121

Теперь героев разбудить пора,
Пора привести в порядок их одеж-
ды.
Вы вспомните, как сладостно
вчера
В объятьях неги и живой надеж-
ды
Уснула Тирза? Резвый бег пера
Я не могу удерживать серьезно,
И потому она проснулась позд-
но...
Растрепанные волосы назад
Рукой откинув и на свой наряд
Взглянув с улыбкой сонною, снача-
ла

Она довольно долго позевала.

122

*На ней измято было все, и грудь
Хранила знаки пламенных лобза-
ний.*

*Она спешит лицо водой сплеснуть
И кудри без особенных стараний
На голове гребенкою заткнуть;
Потом сорочку скинула, небреж-
но*

*Водюю обмывает стан свой неж-
ный...*

*Опять свежа, как персик моло-
дой.*

*И, на плеча капот накинув свой,
Пленительна бесстыдной наго-
тою,*

Она подходит к нашему герою,

123

*Садится в изголовье и потом
На сонного студеной влагой пле-
щет.*

*Он поднялся, кидает взор кругом
И видит, что пора: светелка бле-
щет,*

Озарена роскошным зимним

днем;
Замерзших окон стекла серебрят-
ся;
В лучах пылинки светлые вер-
тятся;
Упругий снег на улице хрустит,
Под тяжестью полозьев и копыт,
И в городе (что мне всегда досад-
но)
Колокола трезвонят беспощад-
но...

124

Прелестный день! Как пышен Бо-
жий свет!
Как небеса лазурны!.. Торопливо
Вскочил мой Саша. Вот уж он
одет,
Атласный галстук повязал лени-
во,
С кудрей ночных восторгов сгла-
дил след;
Лишь синеватый венчик под гла-
зами
Изобличал его... Но (между нами,
Сказать тихонько) это не порок.
У наших дам найти я то же б
мог,

*Хоть между тем ручаюсь голо-
вою,
Что их невинней нету под луною.*

125

*Из комнаты выходит наш герой.
И, пробираясь длинным коридо-
ром,
Он видит Катерину пред собой,
Приветствует ее холодным взо-
ром —
И мимо. Вот он в комнате дру-
гой:
Вот стул с дрожащей ножкою и
рядом
Кровать; на ней, закрыта, кверху
задом
Храпит Параша, отвернув лицо.
Он плащ надел и вышел на крыль-
цо,
И вслед за ним несутся восклица-
нья,
Чтобы не смел забыть он обеща-
нья:*

126

*Чтоб приготовил модный он на-
ряд*

Для бедной, милой Тирзы, и так
дале.

Сказать ли, этой выдумке был
рад

Проказник мой: в театре, в пест-
рой зале

Заметят ли невинный маскарад?
Зачем еврейку не утешить тайно,
Зачем толпу не наказать случай-
но

Презреньем гордым всех ее при-
чуд?

И что молва? Глупцов крикливый
суд,

Коварный шепот злой старухи
или

Два-три намека в польском иль в
кадрили!

127

Уж Саша дома. К тетке входит
он,

Небрежно у нее целует руку.

«Чем кончился вчерашний ваш бо-
стон?»

Я б не решился на такую скуку,
Хотя бы мне давали миллион.

Как ваши зубы?.. А Фиделька где

же?

Она являться стала что-то ре-
же.

Ей надоел наш модный круг, – увы,
Какая жалость!.. Знаете ли вы,
На этих днях мы ждем к себе ко-
мету,
Которая несет погибель свету?..

128

И поделом, ведь новый магазин
Открылся на Кузнецком, – не
удовно ль

Вам посмотреть?.. Там есть
мамзель *Aline*,
Monsieur Dupré, Durand, француз
природный,
Теперь купец, а бывший дворянин;
Там есть мадам *Armand*; там
есть субретка
Fanchoux – плутовка, смуглая ко-
кетка!

Вся молодежь вокруг ее вертит-
ся.

Мне ж все равно, ей-богу, что слу-
чится!

И по одной значительной причине
Я только зритель в этом магази-

не.

129

*Причина эта вот – мой кошелек:
Он пуст, как голова француза, –
малость*

*Истратил я; но это мне урок —
Ценить дешевле ветреную ша-
лость!» —*

*И, притворясь печальным, сколь-
ко мог,*

*Шалун склонился к тетке, два-
три раза*

*Вздыхнул, чтоб удалась его прока-
за.*

*Тихонько ларчик отперев, она
Заботливо дорылась до дна*

*И вынула три беленьких бумаж-
ки.*

*И... вы легко поймете радость
Сашки.*

130

*Когда же он пришел в свой каби-
нет,*

*То у дверей с недвижимостью при-
мерной,*

В чалме пунцовой, щегольски

одет,
Стоял арап, его служитель вер-
ный.
Покрыт, как лаком, был чугу-
нный цвет
Его лица, и ряд зубов перловых,
И блеск очей открытых, но суро-
вых,
Когда смеялся он иль говорил,
Невольный страх на душу наво-
дил;
И в голосе его, иным казалось,
Надменностью безумной отзыва-
лось.

131

Союз довольно странный заклю-
чен
Меж им и Сашей был. Их разгово-
ры
Казались таинственны, как сон;
Вдвоем, бывало, ночью, точно во-
ры,
Уйдут и пропадают. Одарен
Соображеньем бойким, наш прия-
тель
Восточных слов был страшный
обожатель,

*И потому Зафиром наречен
Его арап. За ним повсюду он,
Как мрачный призрак, следовал, и
что же? —
Все восхищались этой скверной
рожей!*

132

*Зафиру Сашка что-то прошеп-
тал.
Зафир кивнул курчавой головою,
Блеснул, как рысь, очами, денег
взял
Из белой ручки черною рукою;
Он долго у дверей еще стоял
И говорил все время, по несча-
стью,
На языке чужом, и тайной стра-
стью
Одушевлен казался. Между тем,
Облокотясь на стол, задумчив,
нем,
Герой печальный моего рассказа
Глядел на африканца в оба глаза.*

133

*И наконец он подал знак рукой,
И тот исчез быстрей китайской*

тени.
Проворный, хитрый, с смелою ду-
шой,
Он жил у Саши как служебный ге-
ний,
Домашний дух (по-русски домо-
вой);
Как Мефистофель, быстрый и по-
слушный,
Он исполнял безмолвно, равно-
душно
Добро и зло. Ему была закон
Лишь воля господина. Ведал он,
Что, кроме Саши, в целом Бо-
жьем мире
Никто, никто не думал о Зафире.

134

Однако были дни давным-давно,
Когда и он на берегу Гвинеи
Имел родной шалаш, жену, пшено
И ожерелье красное на шее,
И мало ли?.. О, там он был звено
В цепи семей счастливых!.. Там
пустыня
Осталась неприступна, как свя-
тыня.
И пальмы там растут до обла-

ков,
И пена вод белее жемчугов.
Там жгут лобзанья, и пронзают
очи,
И перси дев черней роскошной но-
чи.

135

Но родина и вольность, будто сон,
В тумане дальнем скрылись
невозвратно...
В цепях железных пробудился он.
Для дикаря все стало непонятно

—
Блестящих городов и шум и звон.
Так облачко, оторвано грозой,
Бродя одно под твердью голубою,
Куда пристать, не знает; для
него
Все чуждо – солнце, мир и шум
его;
Ему обидно общее веселье, —
Оно, нахмурясь, прячется в ущелье.

136

О, я люблю густые облака,
Когда они толпятся над горою,

Как на хребте стального шишака
Колеблемые перья! Пред грозюю,
В одеждах золотых, издалека
Они текут безмолвным караваном
И наконец, одетые туманом,
Обнявшись, свившись, будто куча
змей,
Беспечно дремлют на скале своей.
Настанет день, – их ветер вновь
уносит:
Куда, зачем, откуда? – кто их
спросит?

137

И после них на свете нет следа,
Как от любви поэта безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не открыл вниманью дружбы
нежной.
И ты, чья жизнь, как беглая звезда,
Промчалася неслышно между нами,
Ты мук своих не выразишь словами;
Ты не хотел насмешки выпить яд,

С улыбкою притворной, как Со-
крат;
И, не разгадан глупою толпою,
Ты умер, чуждый жизни... Мир с
тобою!

138

И мир твоим костям! Они сгни-
ют,
Покрытые одеждою военной...
И сумрачен и тесен твой приют,
И ты забыт, как часовой бессмен-
ный.
Но что же делать? Жди, авось
придут,
Быть может, кто-нибудь из
прежних братьев.
Как знать? – земля до молодых
объятий
Охотница... Ответствуй мне, пе-
вец,
Куда умчался ты?.. Какой венец
На голове твоей? И все ль, как
прежде,
Ты любишь нас и веруешь надеж-
де?

139

*И вы, вы все, которым столько
раз*

Я подносил приятельскую чашу,

*—
Какая буря вдали умчала вас?
Какая цель убила юность вашу?
Я здесь один. Святой огонь погас
На алтаре моем. Желанье славы,
Как призрак, разлетелось. Вы пра-
вы:*

*Я не рожден для дружбы и пиров...
Я в мыслях вечный странник, сын
дубров,
Ущелий и свободы и, не зная
Гнезда, живу, как птичка кочевая.*

140

*Я для добра был прежде гибнуть
рад,
Но за добро платили мне презре-
ньем;
Я пробежал пороков длинный ряд
И пресыщен был горьким насла-
ждением...
Тогда я хладно посмотрел назад:
Как с свежего рисунка, сгладил
краску
С картины прошлых дней, вздох-*

нул и маску
Надел, и буйным смехом заглу-
шил
Слова глупцов, и дерзко их казнил,
И, грубо пробуждая их беспеч-
ность,
Насмешливо указывал на веч-
ность.

141

О вечность, вечность! Что най-
дем мы там,
За неземной границей мира?
Смутный,
Безбрежный океан, где нет векам
Названья и числа; где бесприют-
ны
Блуждают звезды вслед другим
звездам.
Заброшен в их немые хороводы,
Что станет делать гордый царь
природы,
Который, верно, создан всех ум-
ней,
Чтоб пожирать растенья и зве-
рей,
Хоть между тем (пожалуй,
клясться стану)

Ужасно сам похож на обезьяну.

142

*О суета! И вот ваш полубог —
Ваш человек: искусством завла-
девший
Землей и морем, всем, чем толь-
ко мог,
Не в силах он прожить три дня не
евши.
Но полно! злобный бес меня за-
влек
В такие толки. Век наш – век без-
божный;
Пожалуй, кто-нибудь, шпион ни-
чтожный,
Мои слова прославит, и тогда
Нельзя креститься будет без
стыда;
И поневоле станешь лицемерить,
Смеясь над тем, чему желал бы
верить.*

143

*Блажен, кто верит счастьем и
любви,
Блажен, кто верит небу и проро-
кам, —*

Он долголетен будет на земли
И для сынов останется уроком.
Блажен, кто думы гордые свои
Умел смирить пред гордою тол-
пою,
И кто грехов тяжелою ценою
Не покупал пурпурных уст и глаз,
Живых, как жизнь, и светлых, как
алмаз!
Блажен, кто не склонял чела
младого,
Как бедный раб, пред идолом дру-
гого!

144

Блажен, кто вырос в сумраке ле-
сов,
Как тополь дик и свеж, в тени зе-
леной
Играющих и шепчущих листов,
Под кровом скал, откуда ключ
студеный
По дну из камней радужных цве-
тов
Струей гремячей прыгает, свер-
кая,
И где над ним береза вековая
Стоит, как призрак позднюю по-

рой,
Когда едва кой-где сучок гнилой
Трещит вдали и мрак между вет-
вями
Отвсюду смотрит черными оча-
ми!

145

Блажен, кто посреди нагих сте-
пей
Меж дикими воспитан табуна-
ми;
Кто приучен был на хребте коней,
Косматых, легких, вольных, как
над нами
Златые облака, от ранних дней
Носиться; кто, головой припав на
гриву,
Летал, подобно сумрачному диву,
Через пустыню, чувствовал, счи-
тал,
Как мерно конь о землю ударял
Копытом звучным и вперед зем-
лею
Упругой был кидаем с быстро-
тою.

146

Блажен!.. Его душа всегда полна
Поэзией природы, звуков чистых;
Он не успеет вычерпать до дна
Сосуд надежд; в его кудрях волни-
стых
Не выглянет до время седина;
Он, в двадцать лет желающий че-
го-то,
Не будет вечной одержим зевотой,
И в тридцать лет не кинет край
родной
С больною грудью и больной ду-
шой,
И не решится от одной лишь ску-
ки
Писать стихи, марать в чернилах
руки, —

147

Или, трудясь, как глупая овца,
В рядах дворянства, с рабским
униженьем,
Прикрыв мундиром сердце подле-
ца, —
Искать чинов, мирясь с людским
презреньем,
И поклоняться немцам до кон-

ца...

И чем же немец лучше славянина?

Не тем ли, что, куда его судьбина
Ни кинет, он везде себе найдет
Отчизну и картофель?.. Вот народ:

И без таланта правит и за деньги
служит,
Всех давит сам, а бьют его – не
тужит!

148

Вот племя: всякий черт у них барон!

И уж профессор – каждый их сапожник!

И смело здесь и вслух глаголет он,

Как Пифия, воссев на свой треножник!

Кричит, шумит... Но что ж? Он не рожден

Под нашим небом; наша степь святая

В его глазах бездушных – степь простая,

Без памятников славных, без сле-

дов,
Где б мог прочесть он повесть
тех веков,
Которые, с их грозными делами,
Унесены забвения волнами...

149

Кто недоволен выходкой моей,
Тот пусть идет в журнальную
контору,
С листком в руках, с оравой дру-
зей,
И, веруя их опытному взору,
Печатает анафему, злодей!..
Я кончил... Так! дописана страни-
ца.
Лампада гаснет... Есть всему гра-
ница —
Наполеонам, бурям и войнам,
Тем более терпенью и... стихам,
Которые давно уж не звучали
И вдруг с пера Бог знает как упа-
ли!..



Ашик-Кериб Турецкая сказка

Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много Аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери; хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб; пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых; на одной свадьбе он увидел Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у



бедного Ашик-Кериба получить ее руку – и он стал грустен, как зимнее небо.

Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул; в это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник), отстала и подошла к нему. «Что ты спишь под



виноградником, – запела она, – вставай, безумный, твоя газель идет мимо»; он проснулся – девушка порхнула прочь, как птичка; Магуль-Мегери слышала ее песню и стала ее бранить. «Если б ты знала, – отвечала та, – кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб». – «Веди меня к нему», – сказала Магуль-Мегери; и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить, – отвечал Ашик-Кериб, – я тебя люблю, – и ты никогда не будешь моею». –

«Проси мою руку у отца моего, – говорила она, – и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет». – «Хорошо, – отвечал он, – положим, Аяк-ага ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан; нет, милая Магуль-Мегери, я положил зарок на свою душу: обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уж за нее сватается.

Пришел Ашик-Кериб к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник, – он смотрит – это Куршуд-бек. «Добрый путь, – кричал ему бек, – куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ»; не рад был Ашик сво-

ему товарищу, но нечего делать; долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду. «Плыви вперед, – сказал Куршуд-бек, – я за тобою последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл; переправившись, глядь назад – о горе! о всемогущий Аллах! – Куршуд-бек, взяв его одежды, усккал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеею по гладкому полю. Прискакав в Тифлиз, несет бек платье Ашик-Кериба к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке, – говорит он, – вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул, – сказала она ей, – Куршуд-бек привез его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это все выдумки Куршуд-бека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем», – она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришел бос и наг в одну деревню; добрые люди одели его и на-

кормили; он за то пел им чудные песни; таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город; и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф; по обыкновению, вошел в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песельников; многих к нему приводили – ни один ему не понравился; его чауши измучились, бегая по городу; вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос; они туда. «Иди с нами к великому паше, – закричали они, – или ты отвечаешь нам головою». – «Я человек вольный, странник из города Тифлиза, – говорит Ашик-Кериб, – хочу пойду, хочу нет; пою когда придется, и ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше. «Пой», – сказал паша, и он запел. И в этой песне он славил свою дорогу Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблестали на нем богатые одежды; счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат; забыл он свою

Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал, последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться; в это время отправляется один купец с керваном из Тифлиза с сорока верблюдами и восьмьюдесятью невольниками; призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо, – говорит она, – и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай – и видит золотое блюдо в лавке тифлизского купца. «Это мое», – сказал он, схватив его рукою. «Точно твое, – сказал купец, – я узнал тебя, Ашик-Кериб; ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в

назначенный день, то она выдет за другого». В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дни до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня; наконец, измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дни. «Аллах всемогущий, – воскликнул он, – если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать», – и хочет он броситься с высокого утеса; вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос: «Оглан, что ты хочешь делать?» – «Хочу умереть», – отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утеса. «Ступай за мною», – сказал грозно всадник. «Как я могу за тобою следовать, – отвечал Ашик, – твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою». – «Правда; повесь же суму свою на седло мое и следуй». Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаешь?» – спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою, твой конь

быстрее мысли, а я уж измучен». – «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать». – «Хоть бы в Арзерум поспеть нонче», – отвечал Ашик. «Закрой же глаза»; он закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, ага, – сказал Ашик, – я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс». – «То-то же, – отвечал всадник, – я предупредил тебя, чтобы ты говорил мне сущую правду; закрой же опять глаза, – теперь открой». Ашик себе не верит – то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб, но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня; мне по-настоящему надо в Тифлиз». – «Экой ты неверный, – сказал сердито всадник, – но, нечего делать, прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой», – прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай

еще больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство». – «Наклонись, – сказал тот, улыбнувшись, – и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза – и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой; стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я Божий гость, я холоден и голоден; прошу, ради странствующего твоего сына,пусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных, есть теперь в городе свадьбы – ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии». – «Ана, – отвечал он, – я здесь никого

знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сына,пусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». – «Негодная, – отвечала старуха, – ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слез потеряла зрение». Но дочь, не внимая ее упрекам, встала, отперла двери ипустила Ашик-Кериба; сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться: и видит он – на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный сааз. И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» – «Любопытный ты гость, – отвечала она, – будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с Богом». – «Я уж сказал тебе, – возразил он, – что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?» – «Это сааз, сааз», – отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит сааз?» – «Сааз то значит, что на ней играют и поют песни». И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. «Нельзя, – отвечала старуха, – это сааз моего

несчастливого сына, вот уже семь лет он висит на стене и ничья живая рука до него не дотрогивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему; тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О всемогущий Аллах! если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: «Я бедный Кериб (нищий) – и слова мои бедны; но великий Хаде-рилияз помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: «Как тебя зовут?» – «*Рашид*» (храбрый), – отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид, – сказала она, – своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет я ослепла от слез; скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?» И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном,

но она не верила, и спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и все, что получу, принесу сюда и разделю с вами». – «Не позволю, – отвечала старуха, – с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходил из дому». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны, – «а если хоть одна струна порвется, – продолжал Ашик, – то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его; проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришел незнакомец, который говорил: «Селям алейкюм, вы

здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню». – «Почему же нет, – сказал Куршуд-бек. – Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба; спой же что-нибудь, Ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».

Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» – «Шинды Гёрурсез (скоро узнаете)». – «Что это за имя, – воскликнул тот со смехом. – Я первый раз такое слышу!» – «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь Бог ей дал; им отвечали – шинды-гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя». После этого он взял сааз и начал петь:

«В городе Халафе я пил мисирское вино, но Бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день».

Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув: «Ты лжешь; как можно из Халафа приехать сюда в три дни?»

«За что ж ты меня хочешь убить, – сказал Ашик, – певцов обыкновенно со всех четырех сторон собирают в одно место; и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте».



«Пускай продолжает», – сказал жених, и Ашик-Кериб запел снова:

«Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай Бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору: Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери».

Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так-то ты сдержала свою клятву, – сказали ее подруги, – стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека». – «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос, – отвечала Магуль-Мегери; и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, примолвив: «Успокой-

ся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».

Придя в чувства, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чапру.

«Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб, – сказал жених, – но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?» – «В доказательство истины, – отвечал Ашик, – сабля моя перерубит камень, если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска; но лучше всего приведите мне слепую, которая бы семь лет уж не видала свету Божьего, и я возвращу ей зрение». Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у двери и услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка! – закричала она, – это точно брат и точно твой сын Ашик-Кериб», – и, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза, приговаривая: «Знайте все люди, как могущ и велик Хадрилиаз», – и мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно пре-

красную Магуль-Мегери.

Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему: «Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу: сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат: у ней будет не менее серебра и золота; итак, возьми ее за себя – и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери».



Приложения

В. Г. Белинский. Стихотворения М. Лермонтова

С.-Петербург. 1840 (Фрагменты)

Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848) – замечательный русский критик, обобщивший опыт современной ему русской литературы. Творчеству Лермонтова Белинский посвятил статьи: «Герой нашего времени» и «Стихотворения М. Лермонтова».

...В 1838 году в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» была напечатана его поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»; это произведение сделало известным имя автора, хотя оно явилось и без подписи этого имени. Спрашивали: кто такой безымянный поэт? кто такой Лермонтов? писал ли он что-нибудь, кроме этой поэмы? Но, несмотря на то, эта поэма все-таки еще не оценена, толпа и не подозревает ее высокого

достоинства. Здесь поэт от настоящего мира неудовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошлое, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился и слился с ним всем существом своим, обвеялся его звуками, усвоил себе склад его старинной речи, простодушную суровость его нравов, богатырскую силу и широкий размах его чувства и, как будто современник этой эпохи, принял условия ее грубой и дикой общественности, со всеми их оттенками, как будто бы никогда и не знавал о других, – и вынес из нее вымышленную быль, которая достовернее всякой действительности, несомненнее всякой истории. <...>

И подлинно, этой песни можно заслушаться, и все нельзя ее довольно послушаться: как манием волшебного скипетра воскрешает она прошлое – и мы не можем насмотреться на него, забываем для него свое настоящее, ни на минуту не сводим с него взоров, боясь, чтоб оно не исчезло от нас. На первом плане видим мы Иоанна Грозного, которого память так кровава и страшна, которого колоссаль-

ный облик жив еще в предании и в фантазии народа... Что за явление в нашей истории был этот «муж кровей», как называет его Курбский? Был ли он Людовиком XI нашей истории, как говорит Карамзин?.. Не время и не место распространяться здесь о его историческом значении; заметим только, что это была сильная натура, которая требовала себе великого развития для великого подвига; но как условия тогдашнего полуазиатского быта и внешние обстоятельства отказали ей даже в каком-нибудь развитии, оставив ее при естественной силе и грубой мощи, и лишили ее всякой возможности пересоздать действительность, – то эта сильная натура, этот великий дух поневоле исказились и нашли свой выход, свою отраду только в безумном мщении этой ненавистной и враждебной им действительности... Тирания Иоанна Грозного имеет глубокое значение, и потому она возбуждает к нему скорее сожаление, как к падшему духу неба, чем ненависть и отвращение, как к мучителю... Может быть, это был своего рода великий человек, но только не вовремя, слишком рано явившийся России, –

пришедший в мир с призванием на великое дело и увидевший, что ему нет дела в мире; может быть, в нем бессознательно кипели все силы для изменения ужасной действительности, среди которой он так безвременно явился, которая не победила, но разбила его и которой он так страшно мстил всю жизнь свою, разрушая и ее и себя самого в болезненной и бессознательной ярости... Вот почему из всех жертв его свирепства он сам наиболее заслуживает соболезнования; вот почему его колоссальная фигура, с бледным лицом и впалыми, сверкающими очами, с головы до ног облита таким страшным величием, нестерпимым блеском такой ужасающей поэзии... И таким точно является он в поэме Лермонтова: взгляд очей его – молния, звук речей его – гром небесный, порыв гнева его – смерть и пытка; но сквозь всего этого, как молния сквозь тучи, проблескивает величие падшего, униженного, искаженного, но сильного и благородного по своей природе духа...

Поэма начинается картиною царского пира; в золотом венце своем сидит грозный царь, окруженный стольниками, боярами,

князьями и опричниками,

*И пирует царь во славу Божию,
В удовольствие свое и веселие...*

Он велит наполнить золотой ковш заморским вином, обнести пирующих —

И все пили, царя славили.

Лишь только один из опричников <...> сидел с крепкою думою на сердце. Гневно взглянул на него царь, словно ястреб с высоты небес на молодого голубя сизокрылого, —

Да не поднял глаз молодой боец.

Царь стукнул об пол своею палкою с железным наконечником — палка на четверть вонзилась в дубовый пол, но и тут не дрогнул добрый молодец. <...> Низко кланяясь, опричник просит у царя извинения, говоря:

*Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную — не запотчевать!*

[14]

А прогневал я тебя — воля царская:

*Прикажи казнить, рубить голову,
Тяготит она плечи богатырские,*

И сама к сырой земле она клонится.

Царь расспрашивает о причине печали, и его вопросы – перлы народной нашей поэзии, полнейшее выражение духа и форм русской жизни того времени. Таков же и ответ, или, лучше сказать, ответы, опричника, потому что, по духу русской национальной поэзии, он отвечает почти стихом на стих. Боясь длинноты, не выписываем этого места; но вторая половина речи Кирибеевича дышит такую полнотою чувства, блещет такими самоцветными камнями народной поэзии, что мы не можем удержаться, чтобы не перечесть его вместе с нашими читателями. Вина печали удалова бойца – молодушка, которая закрывается фатою, когда на него любуются красные девушки:

*На святой Руси, нашей матушке,
Не найти, не сыскать такой кра-
савицы:
Ходит плавно – будто лебедушка;
Смотрит сладко – как голубуш-
ка;
Молвит слово – соловей поет;*

Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе Божием;
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются...

.....
Скучно, грустно мне, православ-
ный царь,
Одному по свету маяться.
Опустыли мне кони легкие,
Опустыли наряды парчовые.
И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь те-
перь?

Перед кем покажу удальство
свое?

Перед кем я нарядом похваста-
юсь?

Отпусти меня в степи приволж-
ские,

На житье на вольное, на казац-
кое.

Уж сложу я там буйную головуш-
ку

И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаро-
вья

Коня доброго, саблю острую

*И седельцо браное черкасское.
Мои очи слезные коршун выключает,
Мои кости сирые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах
На четыре стороны развеется!..*

Какая сильная, могучая натура! Ее страсть – лава, ее горесть тяжела и трудна: это удалое, разгульное отчаяние, которое в молодечестве, в подвиге крови и смерти ищет своего утоления! Сколько поэзии в словах этого опричника, какая глубокая грусть дышит в них, – эта грусть, которая разрывает сильную душу, но не убивает ее, эта грусть, которая составляет основной элемент, родную стихию, главный мотив нашей национальной поэзии!

Со смехом отвечает царь своему любимому слуге, что его горю-беде не мудрено помочь, предлагает ему яхонтовый перстень и жемчужное ожерелье, велит сперва поклониться «смышленной» свахе, а потом послать к своей Алене Дмитриевне дары драгоценные.
<...>

Как удар грома, как приговор смерти, поражает душу читателя этот ответ опричника, –

и тщетно испуганный слух его ждет, что скажет на это грозный царь, – поэт опускает занавес на эту так трагически недоконченную картину, так страшно прерванную сцену; перед вами нет героев поэмы, и вы с трудом верите, что видели все это не наяву перед собою, но что все это – только рассказ песенников...

*Ай, ребята, пойте – только гусли
стройте!*

Ай, ребята, пейте – дело разумейте!

*Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!*

Но этот удалой припев, эти затейливые прибаутки народного остроумия не веселят вас; сердце ваше сжимается болезненной тоскою: оно чует горе, предвидит беду; повесть превращается для вас в мрачную драму, с трагической катастрофой, и завязка уже готова, действие уже зародилось. Вы видите, что любовь Кирибеевича – не шуточное дело, не простое волокитство, но страсть природы сильной, души могучей. Вы понимаете, что для этого человека нет середины: или получить, или

погибнуть! Он вышел из-под опеки естественной нравственности своего общества, а другой, более высшей, более человеческой, не приобрел: такой разврат, такая безнравственность в человеке с сильною натурою и дикими страстями опасны и страшны. И при всем этом он имеет опору в грозном царе, который никого не пожалеет и не пощадит даже за обиду, не только за гибель своего любимца, хотя бы этот был решительно виноват.

Занавес поднят – и перед нами новая картина: молодой купец, статный молодец, Степан Парамонович, по прозванию Калашников, «за прилавкою»

*...Шелковые товары раскладывает,
Речью ласковой гостей он заманивает,
Злато, серебро пересчитывает.*

Это другая сторона русского быта того времени; на сцене является представитель другого класса общества. Первое его появление на сцену располагает вас в его пользу; почему-то вы чувствуете, что это один из тех упругих и тяжелых характеров, которые тихи и кротки

только до тех пор, пока обстоятельства не расколыхают их, одна из тех железных натур, которые и обиды не стерпят и сдачи дадут. Сильнее и сильнее щемит ваше сердце – чувствует оно недоброе, тем больше, что «молодому купцу, статному молодцу» задался недобрый день. <...>

Калашников запирает свою лавочку дубовой дверью, «да немецким замком со пружиною», привязывает на железную цепь зубастого пса.

*И пошел он домой, призадумавшись,
К молодой хозяйке за Москву-реку.*

Отчего же он призадумался? Или душа человека чувствует шелест шагов незримо следующей по пятам его судьбы, которая обрекла его в свои жертвы?..

Пришед в свой «высокий» дом, Степан Парамонович дивится, что его не встречают ни молодая жена, ни малые детушки, что дубовый стол не покрыт белой скатертью и свечка перед образом еле теплится. Кличет он старуху Еремеевну и спрашивает, куда в такой

поздний час «девалась, затаилась» Алена Дмитриевна и не заигрались ли его любезные дети, что так рано уложились спать? И слышит в ответ:

*...К вечерне пошла Алена Дмит-
ревна;
Вот уж поп прошел с молодой по-
падъей,
Засветили свечу, сели ужи-
нать, —
А по сю пору твоя хозяйюшка
Из приходской церкви не вернула-
ся.
А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть по-
шли —
Плачем плачут всё, не унимают-
ся.*

В этих стихах полная картина домашнего быта и простых, малосложных, простодушных семейственных отношений у наших предков.

Смутился Степан Парамонович крепкою думою.

<...>

*Вот он слышит, в сенях дверью
хлопнули,
Потом слышит шаги торопли-
вые;
Обернулся, глядит – сила крест-
ная!
Перед ним стоит молода жена...*

<...>

Он спрашивает ее, где она шаталася: уж не гуляла ли, не пиновала ли с детьми боярскими, что волосы ее так растрепаны и одежда изорвана. <...> Он грозит запереть ее за дубовую дверь окованную, за железный замок, чтоб она и свету Божьего не видела, его имени честного не порочила.

Как осиноый лист затряслася Алена Дмитриевна, упала мужу в ноги, прося его выслушать ее и говоря, что она «не боится смерти лютыя, а боится его немилости»: в двенадцати стихах полная картина супружеских отношений варварского времени! Жена рассказывает мужу, что, шедши от вечерни домой, услышала за собою чьи-то шаги, «оглянулася – человек бежит»; этот человек схватил ее за руки, говоря ей, что он слуга царя

грозного, прозывается Кирибеевичем, а из славных семьи из Малютиной. <.. > Рванувшись из рук его, она оставила у него свою фату бухарскую и узорный платок – подарочек мужа. Заключение ее рассказа состоит в жалобах на свой позор и в просьбах мужу – не дать ее, свою верную жену, в поругание злым охульникам. Тогда Степан Парамонович посылает за своими двумя меньшими братьями и рассказывает об обиде, нанесенной ему злым опричником царским. <...> Говорит им о своем намерении – биться насмерть с опричником на кулачном бою, который будет завтра на Москве-реке, при самом царе, и просит их постоять за правду, если сам будет побит.

*...Ты наш старший брат, нам второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведешь,
А уж мы тебя, родного, не выдадим.*

Из этого ответа видно, что семья Калашниковых хоть и не славилась столько, как Малютиных, но состояла из сизого орла с орлятами... Превосходно очеркнул поэт в этом отве-

те, будто мимоходом, и простоту родственных отношений наших предков, где право первородства было и правом власти, где старший брат заступал место отца для младших. И это сделано им не в описании, а в живой картине, в самом разгаре в высшей степени драматического действия. Эту сценою семейного совещания оканчивается вторая часть драматической поэмы: действующие лица и завязка действия уже резко обозначились, – сердце наше замирает от предчувствия горестной развязки. <...>

На Москву-реку сходились удалые молодцы «разгуляться для праздника, потешиться». Сам царь приехал с дружиною, боярами и опричниками и велел оцепить серебряною цепью место в 25 сажень «для охотничьего бою, одиночного». Потом царь велел вызывать охотников:

*Кто побьет кого, того царь наградит,
А кто будет побит, того Бог простит!*

Выходит Кирибеевич и с похвальбою вызывает супротивников, обещаясь «лишь поте-

шить царя-батюшку, но для праздника отпустить живого».

Вдруг раздалась толпа – и выходит Степан Парамонович. <...>

Кирибеевич, не выходя из тона своей удалой, молодецкой похвальбы, спрашивает Калашникова о роде-племени и имени, «чтоб знать, по ком панихиду служить, Чтоб было чем и похвастаться».

Отвечает Степан Парамонович:
...Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, бусурманский сын, —
Вышел я на страшный бой, на последний бой!..

Вот оно – ужасное торжество совести в глубокой натуре, которая никогда не отрешится от совести, как бы ни была искажена развратом, как бы ни страшно погрязла в пороке!.. Всегда над нею грозная длань нравственного закона, грозный голос суда Божия, потому что она сама – свой нравственный закон и свой неумолимый суд!..

Начинается бой (мы пропускаем его по-

дробности); правая сторона победила. <...>

Не правда ли: вам жаль удалого, хотя и преступного бойца? с невыразимой тоскою повторите вы за поэтом жалобную мелодию, которою выразил он его падение?.. А между тем вы же сами желали победы благородному купцу и гибели его преступному оскорбителю?.. Таково обаяние великих натур: как бы ни было велико их преступление, но, наказанные, они привлекают все удивление и всю любовь нашу: мы видим в них жертвы неотразимой судьбы и братским поцелуем прощания и прощения в холодные, посинелые уста их запечатлеваем торжество восстановленной их смерти гармонии общего, которую нарушили было они своей виною...

Грозный царь воспалился гневом и спрашивает Калашникова: вольною волею или нехотя убил он его верного слугу и лучшего бойца? Вероятно, Калашников мог бы еще спасти себя ложью, но для этой благородной души, дважды так страшно потрясенной – и позором жены, разрушившим его семейное блаженство, и кровавою мезтью врагу, не возвратившею ему прежнего блаженства, – для

этой благородной души жизнь уже не представляла ничего обольстительного, а смерть казалась необходимою для уврачевания ее неисцелимых ран... Есть души, которые довольствуются кое-чем – даже остатками бывшего счастья; но есть души, лозунг которых – все или ничего, которые не хотят запятнанного блаженства, раз потемненной славы: такова была и душа удалого купца, статного молодца, Степана Парамоновича Калашникова! Он сказал царю всю правду, скрыв, однако, причину своего мщения.

<...>

Какая дивная черта глубокого знания сердца человеческого и древних нравов! Какая высокая, трагическая черта! Он охотно идет на казнь и лишь просит царя «не оставить своей милостью милых детушек, молодой жены да двух братьев его». В ответе царя резко, во всем страшном величии, выказывается колоссальный образ Грозного: <...>

Я топор велю наточить-наострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу зво-

нить,
Чтоб знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей мило-
стью...

Какая жестокая ирония, какой ужасный сарказм! И мертвый содрогнулся бы от него во гробе! А между тем в согласии на милость жене, покровительстве детям и братьям осужденного проблескивает луч благородства и величия царственной природы и как бы невольное признание достоинства человека, который обречен судьбою безвременной и насильственной смерти!.. Какая страшная трагедия! сама судьба, в лице Грозного, присутствует пред нами и управляет ее ходом!.. И едва ли во всей истории человечества можно найти другой характер, который мог бы с большим правом представлять лицо судьбы, как Иоанн Грозный! <...>

И вот занавес опустился, трагедия кончилась, колоссальные образы ее героев исчезли из глаз наших, прошедшее стало опять прошедшим —

*И что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,*

Столь полных волею страстей?

Что? – могила, мрачное жилище тления и смерти; но над этою могилою веет жизнь, царит воспоминание, немою речью говорит предание:

*И проходят мимо люди добрые:
Пройдет стар человек – перекре-
стится,
Пройдет молодец – приосанится,
Пройдет девица – пригорюнится,
А пройдут гусяры – споют песен-
ку.*

Какие роскошные дани, какие богатые жертвы приносятся этой могиле живыми! И она стоит их, ибо не живые в ней, мертвой, – но она, мертвая, рождает жизнь в живых; заставляет их и креститься, и приосаниваться, и пригорюниваться, и петь песни!.. Вас огорчает, заставляет страдать горестная и страшная участь благородного Калашникова; вы жалеете даже и о преступном опричнике: понятное, человеческое чувство! Но без этой трагической развязки, которая так печалит ваше сердце, не было бы и этой могилы, столь красноречивой, столь живой, столь полной

глубокого значения, и не было бы великого подвига, который так возвысил вашу душу, и не было бы чудной песни поэта, которая так очаровала вас... И потому да переменится печаль ваша на радость, и да будет эта радость светлым торжеством победы бессмертного над смертным, общего над частным! Благословим непреложные законы бытия и миродержавных судеб и повторим за поэтом музыкальный финал, которым, по старинному и достохвальному русскому обычаю, заставляет он гуслиров заключить свою поэтическую песню:

*Гей вы, ребята удалые,
Гуслиры молодые,
Голоса заливные!*
*Красно начинали – красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте.*
*Тароватому боярину слава!
И красавице боярыне слава!*
И всему народу христианскому слава!

Излагая содержание этой поэмы, уже из-

вестной публике, мы имели в виду намекнуть на богатство ее содержания, на полноту жизни и глубину идеи, которыми она запечатлена: что же до поэзии образов, роскоши красок, прелести стиха, избытка чувства, охватывающего душу огненными волнами, свежести колорита, силе выражения, трепетного, полного страсти одушевления, – эти вещи не толкуются и не объясняются... Мы написали целую часть поэмы – пусть читают и судят сами: кто не увидит в этих стихах того, что мы видим, для тех нет у нас очков, и едва ли какой оптик в мире поможет им.

Содержание поэмы, в смысле рассказа происшествия, само по себе полно поэзии: если бы оно было историческим фактом, в нем жизнь являлась бы поэзией, а поэзия жизнью. Но тем не менее он не существовал бы для нас, нашли ли бы мы его в простодушной хронике старых времен, или, по какому-нибудь чуду, сами были его свидетелем – оно было бы для нас мертвым материалом, в который только поэт мог бы вдохнуть душу живую, отделив от него все случайное, произвольное и представив его в гармоническом целом,

поставленном и освещенном сообразно с требованиями точки зрения и света. И в этом отношении нельзя довольно надивиться поэту: он является здесь опытным, гениальным архитектором, который умеет так согласить между собою части здания, что ни одна подробность в украшениях не кажется лишнею, но представляется необходимою и равно важною с самыми существенными частями здания, хотя вы и понимаете, что архитектор мог бы легко вместо нее сделать и другую. Как ни пристально будете вы вглядываться в поэму Лермонтова, не найдете ни одного лишнего или недостающего слова, черты, стиха, образа; ни одного слабого места: все в ней необходимо, полно, сильно! В этом отношении ее никак нельзя сравнить с народными легендами, носящими на себе имя их собирателя – Кирши Данилова: то детский лепет, часто поэтический, но часто и прозаический, нередко образный, но чаще символический, уродливый в целом, полный ненужных повторений одного и того же; поэма Лермонтова – создание мужественное, зрелое и столько же художественное, сколько и народное. Безыменные

творцы этих безыскусственных и простодушных произведений составляли одно с веющим в них духом народности; они не могли от нее отделиться, она заслоняла в них саму же себя; но наш поэт вошел в царство народности как ее полный властелин и, проникнувшись ее духом, слившись с нею, он показал только свое родство с нею, а не тождество; даже в минуту творчества он видел ее пред собою, как предмет, и так же по воле своей вышел из нее в другие сферы, как и вошел в нее. Он показал этим только богатство элементов своей поэзии, кровное родство своего духа с духом народности своего отечества; показал, что и прошедшее его родины так же присуще его натуре, как и ее настоящее, и потому он, в этой поэме, является не безыскусственным певцом народности, но истинным художником, – и если его поэма не может быть переведена ни на какой язык, ибо колорит ее весь в русско-народном языке, то тем не менее она – художественное произведение, во всей полноте, во всем блеске жизни воскресившее один из моментов русского быта, одного из представителей Древней Руси. В

этом отношении после Бориса Годунова больше всех посчастливилось Иоанну Грозному: в поэме Лермонтова колоссальный образ его является изваянным из меди или мрамора.
<...>

* * *

Теперь нам остается разобрать поэму Лермонтова «Мцыри». Пленный мальчик-черкес воспитан был в грузинском монастыре; выросши, он хочет сделаться или его хотят сделать монахом. Раз была страшная буря, во время которой черкес скрылся. Три дня пропал он, а на четвертый был найден в степи, близ обители, слабый, больной, и умирающий перенесен снова в монастырь. Почти вся поэма состоит из исповеди о том, что было с ним в эти три дня. Давно манил его к себе призрак родины, темно носившийся в душе его, как воспоминание детства. Он захотел видеть Божий мир – и ушел.

*Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля <...>
Я убежал. О! я как брат
Обняться с бурей был бы рад!*

*Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил...
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен.
Той дружбы краткой, но живой
Меж бурным сердцем и грозой?..*

Уже из этих слов вы видите, что за огненная душа, что за могучий дух, что за исполинская натура у этого мцыри! Это любимый идеал нашего поэта, это отражение в поэзии тени его собственной личности. Во всем, что ни говорит мцыри, веет его собственным духом, поражает его собственной мощью. Это произведение субъективное:

*Кругом меня цвел Божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой,
И снова я к земле припал,
И снова вслушиваться стал*

*К волшебным, странным голо-
сам;*

*Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели*

О тайнах неба и земли <...>

*Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно,
опять.*

*В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет*

Прилежный взор следить бы мог;

Он так прозрачно был глубок,

Так полон ровной синевой!

Я в нем глазами и душой

Тонул, пока полдневный зной

Мои мечты не разогнал,

И жаждой я томиться стал.

<...>

Мцыри сбивается с пути, желая пробраться в родную сторону, воспоминание которой смутно живет в душе его:

Напрасно в бешенстве порой

Я рвал отчаянной рукой

Терновник, спутанный плющом;

Все лес был, вечный лес кругом,

Страшней и гуще каждый час;

И миллионом черных глаз

*Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста...
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на дерева,
Но даже на краю небес
Все тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал;
И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горячею росой...*

<...>

Блуждая в лесу, голодный и умирающий, мцыри вдруг увидел с ужасом, что воротился опять к своему монастырю. <...>

*Прощай, отец... дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне...
Знай, этот пламень, с юных дней
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожест свою тюрьму,
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой...*

<...>

Из наших выписок вполне видна мысль

поэмы; эта мысль отзывается юношескою незрелостью, и если она дала возможность поэту рассыпать перед вашими глазами такое богатство самоцветных камней поэзии, – то не сама собою, а точно как странное содержание иного посредственного либретто дает гениальному композитору возможность создать превосходную оперу. Недавно кто-то, резонерствуя в газетной статье о стихотворениях Лермонтова, назвал его «Песню про царя Ивана Васильевича, удалого опричника и молодого купца Калашникова» произведением детским, а «Мцыри» – произведением зрелым; глубокомысленный критикан, рассчитывая по пальцам время появления той и другой поэмы, очень остроумно сообразил, что автор был тремя годами старше, когда написал «Мцыри», и из этого казуса весьма основательно вывел заключение: ergo[15] «Мцыри» зрелее. Это очень понятно: у кого нет эстетического чувства, кому не говорит само за себя поэтическое произведение, тому остается гадать о нем по пальцам или соображаться с метрическими книгами...

Но, несмотря на незрелость идеи и некото-

рую натянутость в содержании «Мцыри», – подробности и изложение этой поэмы изумляют своим исполнением. Можно сказать без преувеличения, что поэт брал цвета у радуги, лучи у солнца, блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветров, – что вся природа сама несла и подавала ему материалы, когда писал он эту поэму... Кажется, будто поэт до того былотягощен обременительною полнотою внутреннего чувства, жизни и поэтических образов, что готов был воспользоваться первою мелькнувшею мыслию, чтоб только освободиться от них, – и они хлынули из души его, как горящая лава из огнедышащей горы, как море дождя из тучи, мгновенно объявшей собою распаленный горизонт, как внезапно прорвавшийся яростный поток, поглощающий окрестность на далекое расстояние своими сокрушительными волнами... Этот четырехстопный ямб с одними мужескими окончаниями, как в «Шильонском узнике», звучит и отрывисто падает, как удар меча, поражающего свою жертву. Упругость, энергия и звучное, однообразное падение его удивительно гармонируют с сосредоточенным чувством,

несокрушимую силою могучей природы и трагическим положением героя поэмы. А между тем какое разнообразие картин, образов и чувств! тут и бури духа, и умиление сердца, и вопли отчаяния, и тихие жалобы, и гордое ожесточение, и кроткая грусть, и мраки ночи, и торжественное величие утра, и блеск полудня, и таинственное обаяние вечера!.. Многие положения изумляют своею верностию: таково место, где мцыри описывает свое замирание подле монастыря, когда грудь его пылала предсмертным огнем, когда над усталую голову уже веяли успокоительные сны смерти и носились ее фантастические видения. Картины природы обличают кисть великого мастера: они дышат грандиозностию и роскошным блеском фантастического Кавказа. Кавказ взял полную дань с музы нашего поэта.. Странное дело! Кавказу как будто суждено быть колыбелью наших поэтических талантов, вдохновителем и пестуном их музы, поэтической их родиною! Пушкин посвятил Кавказу одну из первых своих поэм – «Кавказского пленника», и одна из последних его поэм – «Галуб» – тоже посвящена Кавказу; несколько

превосходных лирических стихотворений его также относятся к Кавказу. Грибоедов создал на Кавказе свое «Горе от ума»: дикая и величавая природа этой страны, кипучая жизнь и суровая поэзия ее сынов вдохновили его оскорбленное человеческое чувство на изображение апатического, ничтожного круга Фамусовых, Скалозубов, Загорецких, Хлестовых, Тугоуховских, Репетиловых, Молчалиных – этих карикатур на природу человеческую... И вот является новый великий талант – и Кавказ делается его поэтической родиной, пламенно любимой им; на недоступных вершинах Кавказа, венчаных вечным снегом, находит он свой Парнас; в его свирепом Тереке, в его горных потоках, в его целебных источниках находит он свой Кастальский ключ, свою Иппокрену... Как жаль, что не напечатана другая поэма Лермонтова, действие которой совершается тоже на Кавказе и которая в рукописи ходит в публике, как некогда ходило «Горе от ума»: мы говорим о «Демоне». Мысль этой поэмы глубже и несравненно зрее, чем мысль «Мцыри», и хотя исполнение ее отзывается некоторою незрелостью, но

роскошь картин, богатство поэтического одушевления, превосходные стихи, высота мыслей, – обаятельная прелесть образов ставят ее несравненно выше «Мцыри» и превосходят все, что можно сказать в ее похвалу. Это не художественное создание, в строгом смысле искусства; но оно обнаруживает всю мощь таланта поэта и обещает в будущем великие художественные создания.

<...>

П. А. Висковатов. «Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество» (Фрагменты)

П. А. Висковатов (1842–1895) – историк литературы, автор первой научной биографии М. Ю. Лермонтова, написанной на основе обширного фактического материала и бесед с людьми, близко знавшими поэта.

<...> как на первую попытку подражать Пушкину можно смотреть на поэму «Черкесы», писанную, как кажется, в 1828 году. Писал эту поэму Михаил Юрьевич, когда ему не

было еще 14 лет, – писал ее в городе Чембары, отстоящем всего в 12 верстах от села Тархан, за дубом, с которым связывалось какое-то дорожное для него воспоминание. Рукою поэта на самом заглавном листе переписанной им начисто поэмы помечено: «В Чембаре, за дубом». Мальчика охватили образы и звуки пушкинского «Кавказского пленника». И неудивительно, что именно это произведение славного нашего поэта увлекало мечтательного Мишеля. Эта мечтательность и так давно была возбуждена картинами Кавказа. Ему невольно должно было казаться, что Пушкин вылил словами то, что выразить самому еще было не по силам. Живые впечатления Кавказа, вынесенные мальчиком так недавно, сливались с очарованием пушкинского стиха. Сначала он зачитывался этим произведением, но работающие в нем мысли и чувства настолько самостоятельны, что он не может без дальнейшего принять и удовлетвориться продуктом чужого творчества. И вот он, под руководством поэмы Пушкина, пробует создать свое или переделать эту дорогую поэму так, чтоб она более соответствовала его собствен-

ному мировоззрению и индивидуальности его. Поэтому он, не стесняясь, берет у Пушкина, что ему кажется подходящим, а что не подходит, он видоизменяет по-своему.

Не удовлетворенный первой попыткой, Лермонтов тотчас берется за переделку сюжета и прямо называет его одним именем с пушкинской поэмой – «Кавказским пленником», так же, как у Пушкина, разбивая его на две части. Надо, однако, сознаться, что если вся концепция взята Лермонтовым у Пушкина, то в картинах кавказской природы мы видим будущего великого художника. Многие стихи «Черкесов» мы встречаем в стихах «Кавказского пленника»; и те и другие являются, собственно, только пересказом пушкинских.

Конец пушкинской поэмы, очевидно, казался юному поэту недостаточно трагичным, то есть ужасным, – два понятия, всегда смешиваемые в юные годы. И вот Лермонтов старается усилить впечатление тем, что освобожденный любящею его черкешенкой пленник в глазах ее сражен пулей, посланной ему притаившимся отцом ее. При этом самая

смерть пленника описывается почти теми же словами, как смерть Ленского в «Евгении Онегине»:

*Но роковой ударил час...
Раздался выстрел – и как раз
Мой пленник падает... Не муку,
Но смерть изображает взор,
Кладет на сердце тихо руку...*

Отец попирает убитого ногой, и, не вынося этого горя, черкешенка, как и у Пушкина, потопляет себя. Трагизм всего Лермонтов старается увеличить указанием на то, что старый черкес, застреливший русского, в то же время стал убийцею своей дочери.

*Но кто убийца их жестокой?..
Он был с седою бородой;
Не видя девы черноокой,
Сокрылся он в глуши лесной.
Увы! то был отец несчастный!..*

.....
*Поутру труп оледенелый
Нашли на пенистых берегах.
Он хладен был, окостенелый;
Казалось, на ее устах
Остался голос прежней муки;
Казалось, жалостные звуки*

*Еще не смолкли на губах;
Узнали все. Но поздно было! —
Отец! убийца ты ее;
Где упование твое?
Терзайся век! живи уныло!
Ее уж нет. И за тобой
Повсюду призрак роковой...*

Весьма замечательно, что уж тут в первом произведении поэта высказывается самостоятельная мысль (об отце у Пушкина и намек нет), которую потом встретим мы в целом ряде юношеских драм. Это – деспотизм отца, доводящий детей до трагического самоубийства.

В поэму введены и друзья пленника, чего нет у Пушкина. Внося в поэму свое индивидуальное, Лермонтов дал в ней место выражению занимавших его чувств. Душа его в то время уже сильно жаждала дружбы. В набело переписанной тетради 1829 года, содержащей пьесы 1828 года, мы встречаем множество намеков, указывающих на то, что душа мальчика постоянно была занята мыслями о дружбе. Многие стихи посвящены лицам, очевидно, из дружеского, товарищеского круга.

*Я рожден с душою пылкой,
Я люблю с друзьями быть, —*

говорит он. Всю тетрадь эту Лермонтов посвящает тогдашнему близкому другу своему, некоему Сабурову, не раз, впрочем, оскорблявшему чуткую душу мальчика.

*...Оттенок чувств тебе несу я в
дар,
Хоть ты презрел священной
дружбы жар...*

Он жалуется, что «ложный друг увлек Сабурова в свои сети», жалуется на его измену, восклицает: «Как он не понимал моего пылкого сердца», и зовет его к себе.

*Под сень черемух и акаций,
Чтоб разделить святой досуг.*

Наконец последовал и совершенный, должно быть, разрыв. «Наша дружба, — говорит Лермонтов в примечании к последнему стихотворению, посвященному тому же Сабурову, — наша дружба смешана со столькими разрывами и сплетнями, что воспоминания о ней совсем невеселы. Этот человек имеет женский характер; я сам не знаю, отчего до-

рожил им».

Впечатлительная и зыбкая натура юноши часто приводила его к тяжкому разочарованию в друзьях. Тогда он старался найти выход этому чувству в эпиграммах на друзей или дружбу.

Хороши были отношения Лермонтова к другому товарищу – Дурново, о котором он отзывался еще и немного позднее как о друге, которого он все еще уважает за его открытую и добрую душу. «Он мой первый и последний друг», – говорит юный поэт.

Это примечание к стихотворению сделано рукою поэта по прошествии известного времени. Должно полагать, когда он вновь перечитывал и передумывал писанное прежде.

Постоянные обращения к друзьям и намеки на дружбу, конечно, свойственны самому возрасту, в который вступал мальчик, но, кроме того, и самая жизнь в семье стала все более тяготить его. Несчастное положение между любимым и принижаемым отцом, с одной стороны, и бабушкой и родными, с другой, обострялось все более. Гордого по натуре ребенка все сильнее раздражало пренебреже-

ние окружающих к бедности и незнатности рода отца, а следовательно, и его самого. Мальчик должен был искать привета и дружбы вне домашней обстановки, там, где ничто не оскорбляло бы его.

И вот:

*В уме своем он создал мир иной
И образов иных существованье.*

Этим состоянием, может быть, объясняется, почему в своем «Кавказском пленнике» мальчик-поэт рисует друзей пленника, играющих в его новом положении не последнюю роль и утешающих его, разделяющих с ним скорбь рабского положения на чужбине. «В слезах склонясь к младой главе», стараются эти товарищи несчастья привести в чувство лежащего без памяти. На груди их он плачет и рыдает по родине. Он

*Счастлив еще, – его мученья
Друзья готовы разделять
И вместе плакать и страдать...*

«Кавказского пленника» Лермонтов писал в Москве. По крайней мере, тетрадь, в которую вписан он, помечена: «Москва, 1828 год».

Мальчику, очевидно, очень хотелось придать своему опыту характер почтенного печатного издания. Тетрадь имеет вид небольшой книжки, переплетенной в зеленый сафьян с золотым тиснением, в 8-ю долю листа, с виньетками и картинками и с заглавным листом, писанным как бы печатными буквами.

* * *

...Лермонтов изучал русскую старину и народные поверья да песни. Уже пятнадцатилетним мальчиком он интересовался ими. Теперь он серьезнее изучает их и особенно прилежно читает известный сборник «Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». Его увлекает характер и лад русской былины, и в нем зарождается мысль составить песню, в которой выразилась бы русская жизнь в знаменательный период московской истории – царствование Иоанна Грозного. Хотя знаменитая «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и была окончательно отделана позднее и в первом своем виде появилась в начале 1838

года, но уже в 1836 году Лермонтов ее задумал и готовился написать, а может быть, частью и написал уже, дав затем произведению этому вылежаться, что было в его привычках творчества.

Во время пребывания Михаила Юрьевича в университете произошел случай увоза красавицы жены купца, жившего в Замоскворечье по-старинному. Купец торговал в Гостином дворе, а хозяйством его заведовала старуха. Проживавший в Москве после польской кампании, оправившийся от полученной раны лихой гусар, тщетно ухаживавший за приглянувшейся ему женой купца, похитил ее с улицы, когда она возвращалась из церкви. Муж отомстил за поругание семьи и затем, арестованный, наложил на себя руки. Случай этот, глубоко затронувший поэта, остался не без влияния на «Песню о Калашникове».

Весьма возможно тоже, что самый сюжет взят поэтом из какого-либо рассказа о грозном царе, но некоторые картины и образы навеяны былинными песнями, коими Михаил Юрьевич зачитывался в сборнике Кирши Данилова. Так, сцена пиროвания Ивана Грозного

нарисована по образцу народных песен. В бы-
лине «Ставр-боярин» поется, что

*Во стольном было городе, во Кие-
ве,
У ласкова осударя, князя Влади-
мира,
Было пированье, почестный пир,
Было столованье, почестный
стол
На многи князи и бояра И гости
богатые...*

.....
*Князи-бояре пьют, едят, потеша-
ются,
И только из них один боярин
Ставр Годинович не пьет, не ест...*

(Кирша Данилов)

Такой же пир описан в былине «Мастрюк
Темрюкович». Пьет царь, и пьют бояре, и кня-
зья, и могучие богатыри. И доносят царю:

*А и гой еси, царь Иван Васильевич!
Все князи, бояре, могучие богаты-
ри
Пьют, едят, потешаются...*

.....
Один не пьет, да не ест царский

*гость дорогой,
Мастрюк Темрюкович, молодой
черкашенин.*

Этот Темрюкович мог явиться для Лермонтова прототипом удалого бойца, Кирибеевича. Он тоже любимый боец и шурин царский, как Кирибеевич, принадлежащий к роду Скуратовых, который был в свойстве с Грозным. Темрюкович побивает всех бойцов, что делал и Кирибеевич. Оба они хвастают и глумятся над боязливymi супротивниками. Темрюкович в сборнике Кирши Данилова

*Кричит во всю голову, чтобы слышал
царь-государь:*

*«А свет ты вольный царь, царь
Иван Васильевич,
Что у тебя в Москве за похваль-
ные молодцы, поученные,*

*славные?
На ладонь их посажу, другой ру-
кой раздавлю».*

У Лермонтова Кирибеевич на просторе похаживает,

Над плохими бойцами подсмеива-

ет:

«Присмирели, небойсь, позадумались!

Так и быть, обещаюсь для праздника,

*Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего ба-
тюшку».*

Темрюковича побивает наконец Мишка Борисович, человек роду незнатного, как Кирибеевича Степан Парамонович – сын купеческий.

Перечитывая разные былины в сборнике Кирши Данилова, удивляешься, как Лермонтов усвоил себе склад и выражения народной речи. Видно, он и долго, и много изучал их. Тут встречаешь и «седельце браное черкасское», и очи слезные, что выклюет коршун, и описание утренней зари:

*А поутру рано-ранешенько,
На светлой заре, рано-утренней,
На восход красного солнышка...*

У Лермонтова:

*Над Москвой великой, златогла-
вою,*

*Над стеной кремлевской белока-
менной,
Из-за дальних лесов, из-за синих
гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается...*

В былине «Иван Годинович» мы встречаемся с именем Настасья Дмитриевна, напоминающим собою Алену Дмитриевну у Лермонтова. Кирибеевич влюблен в нее, но скрывает от царя, что она

В церкви Божией перевенчана.

В былине Иван Годинович тоже опаздывает со своею любовью. Песня говорит:

*Глупый Иван, неразумный Иван!
Где ты, Иванушка, перво был?
Ныне Настасья просватана,
Душа Дмитревна запоручена...*

Восприняв в себя дух и лад народной речи, молодой поэт создал чудную повесть из прежнего русского быта. «Гомеровская верность, сила и простота видны в ней» – так выражается о «Песне про царя Ивана Васильевича,

Кирибеевича и Калашникова» германский поэт и знаток Лермонтова Боденштедт. «Чтобы точнее определить значение Лермонтова в русской и во всемирной литературе, – говорит он, – следует прежде всего заметить, что он выше всего там, где становится наиболее народным, и что высшее проявление этой народности (как песня о царе Иване Васильевиче) не требует ни малейшего комментария, чтобы быть понятою для всех»... В свое время в русской критике уже Шевырев указывал на то, с каким мастерством Лермонтов умел усвоить себе черты народного творчества и как исторически верно схвачен характер лиц, выставленных им в этом знаменитом произведении; Хомяков приходил в восторг от этой песни. Полагаем, что не скажем лишнего, если заметим, что сохранись из творений Лермонтова одна эта песня – слава и значение его были бы упрочены как в нашей родной, так и во всемирной литературе. Интересной иллюстрацией к настроению поэта в годы, когда он писал свою песню про Иоанна Грозного, может служить рассказ о том, как, побывав зимою 1836 года в Тарханах, Лермонтов

устраивает между крестьянами кулачный бой. Бои эти существовали в некоторых великорусских губерниях и на Волге до последнего времени и только недавно окончательно вывелись. Довольный виденным боем, Лермонтов подарил крестьянам несколько участков лесу и особенно одарил победителя, молодого парня из Тархан. Видно, поэта занимала картина кулачного боя как сильно распространенная в прошлом русская национальная потеха. Впрочем, забава эта была известна поэту еще с детских дней. В то время кулачные бои происходили зимой на замерзшем пруду помещичьего сада в Тарханах.

В эту поездку, следуя по совету бабушки через Тамбов, Лермонтов был свидетелем или узнал о происшествии, которое воспел под именем «Тамбовской казначейши»; так и следует именовать это произведение. В печати оно появилось под именем просто «Казначейши», а не «Тамбовской», по соображениям цензурным. Слово «Тамбов» вообще было выброшено и заменено точками.

Тогда же, или за год, Лермонтов в Тарханах стал писать поэму «Сашка», пользуясь наброс-

ками, сделанными им в разное время, и, между прочим, еще в юнкерской школе в тетрадке «лекций по географии европейских государств в военном отношении». Произведение это, интересное своим автобиографическим значением, любопытно теплотою воспоминаний о Москве и Московском университете. Оно осталось неоконченным, вероятно, потому, что в нем еще слишком сказывался дух произведений скабрёзного свойства, вышедших из-под пера поэта во время пребывания его в юнкерской школе. Некоторые стихи, писанные им в то время, вошли в поэму. Лучшие строфы из нее Михаил Юрьевич перенес позднее в другие свои произведения.

* * *

Творчество Лермонтова действительно вступало в новый фазис развития. Элементы объективной рисовки берут верх над субъективными; поэт черпает мотивы своих созданий не только из личных ощущений, но главным образом из широких народных верований и мотивов. Зачатки такого процесса сказались уже при создании им «Песни про Ивана Грозного и купца Калашникова». Теперь

любезнейшая и вернейшая для биографа поэма «Демон», которая носит на себе все фазисы развития таланта и душевного состояния поэта, из области личного чувства переходит в область эпического создания. В ней главным образом отражается уже не личная жизнь, а верования и природа целой страны, в которой поэт нашел вторую свою родину. Последняя переработка поэмы относится именно к 1841 году <...> здесь, конечно, говорить о ней не станем, а только констатируем факт начавшейся перемены направления творчества в зреющем поэте и человеке. <...>

Комментарии

ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА С. 7

«Песня...» была написана на Кавказе, во время ссылки за стихотворение на смерть Пушкина. Историю ее появления в печати рассказывает П. А. Висковатов (со слов А. А. Краевского, получившего рукопись): «Среди походной жизни Лермонтов окончательно обработал «Песню о Калашникове» и выслал ее А. А. Краевскому, издававшему «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». Когда стихотворение обыкновеннейшим порядком было отправлено в цензуру, то цензор издания нашел... невозможным... напечатать стихотворение человека, только что сосланного на Кавказ за свой либерализм. Г. Краевский обратился к Жуковскому, который был в великом восторге от стихотворения и, находя, что его непременно надо напечатать, дал г. Краевскому письмо к министру народного просвещения, в ведении коего находилась

цензура. Гр. Уваров, гонитель Пушкина, оказался на этот раз добрее к преемнику его таланта и славы. Имени поэта он, однако, выставить не позволил, и «Песня» вышла с подписью: «—ВЪ».

Поэма написана в духе русских народных, в частности разбойничьих, песен. Уже современная Лермонтову критика ставила это произведение в ряд величайших эпических творений мировой литературы.

Гуслярный звон – звон гуслей, старинного музыкального инструмента, на котором играли, положив его на колени и перебирая обеими руками струны.

Скуратов Малюта – один из ближайших опричников Ивана Грозного.

Аргамак – порода верховых лошадей.

Лобное место – возвышение, с которого в старину объявляли царские указы и где производились смертные казни.

Плаха – бревно, на котором отрубали голову.

Бесталанная – несчастная, обездоленная.

Тороватый – щедрый.

ТАМБОВСКАЯ КАЗНАЧЕЙША

С. 25

Прежняя датировка «Тамбовской казначейши» 1838 г. (годом появления в печати) вызывает у современных исследователей сомнение: вернее, что поэма была написана в 1836 г., когда Лермонтов, проездом в Тарханы, побывал в Тамбове.

Текст поэмы сильно пострадал от цензуры – не только официальной, но и редакционной. Пострадало прежде всего заглавие. В письме к М. А. Лопухиной (от 15 февраля 1838 г., т. е. перед самым появлением поэмы в печати) Лермонтов писал (по-французски): «Я был у Жуковского и отнес ему, по его просьбе, «Тамбовскую казначейшу»; он понес ее Вяземскому, чтобы прочесть вместе; им очень понравилось, напечатано будет в ближайшем номере *Современника*. Слово «Тамбовская» исчезло в печатном заглавии, очевидно, по цензурным причинам, как и в самом тексте название города было заменено буквой Т с точками. И. И. Панаев описывает в своих «Воспоминаниях», как возмущался Лермонтов, увидев свою поэму напечатанной в изуродован-

ном цензурой виде: «Он держал тоненькую розовую книжечку «Современника» в руке и покушался было разодрать ее, но Краевский не допустил его до этого. «Это черт знает что такое! позволительно ли делать такие вещи! – говорил Лермонтов, размахивая книжечкою... – Это ни на что не похоже!» Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке «Современника», где была напечатана его «Казначейша», набросал какую-то карикатуру».

«Тамбовская казначейша» противостоит кавказским «романтическим» поэмам Лермонтова как реалистическая повесть в стихах, продолжающая жанровую традицию «Графа Нулина» и «Домика в Коломне» Пушкина. Сам Лермонтов указывает в посвящении на формальную связь поэмы с «Евгением Онегиным».

В строфе IV упоминается «марш из *Двух слепых*», под музыку которого уланы вступают в город. Это марш из оперы французского композитора Этьена Мегюля (1763–1817) «Два слепых из Толедо» (1806), тогда очень популярной в России.

ДЕМОН

С. 53

Первоначальный замысел поэмы «Демон» относится к 1829 г. Первый очерк представляет собой ряд стихотворных набросков (характеристика демона и незаконченный диалог), разделенных двумя программными конспектами сюжета. Сначала намечен сюжет, в котором главную роль играет борьба демона с ангелом, влюбленным в одну смертную; потом сюжет меняется, уже приближаясь к окончательному, – демон влюбляется в монахиню и губит ее из ненависти к ангелу-хранителю. Был еще третий план, в котором сюжет прикреплен к определенному месту и времени:

«Демон. Сюжет. Во время пленения евреев в Вавилоне (из Библии). Еврейка. Отец слепой. Он в первый раз видит ее спящую. Потом она отцу поет про старину и про близость ангела, как *прежде*. Еврей возвращается на родину. Ее могила остается на чужбине». Но эта библейская интерпретация осталась неосуществленной.

В 1830–1831 гг. Лермонтов возвращается к ранним планам и пишет целиком всю поэму,

частично используя первоначальный набросок. Здесь появляется эпиграф из «Каина» Байрона.

Каин. Кто ты?

Люцифер. Повелитель духов.

*Каин. Но если так, можешь ли ты
Покидать их и пребывать с прахом
(людьми)?*

Люцифер. Я знаю мысли

*Праха, и сочувствую им, и мыслю с ва-
ми.*

Время действия и место остались здесь, как и в первом очерке, неопределенными. Героиня – монахиня, история которой заключена в пыльном пергаменте, найденном между развалин. История эта остается неизвестной: «Но свету не передам я повесть эту: ценить он чувства не привык!» (В варианте эта история слегка намечена.) Пейзаж – море и скалы. В очерк введена «Песнь монахини», которая связывает этот очерк с первоначальным планом (любовь ангела к смертной). В том же 1831 г. Лермонтов пробует начать «Демона» заново пятистопным ямбом и строфами (по 8 строк в каждой). Но, написав вступление (7

строф), он бросает и заявляет: «Я хотел писать эту поэму в стихах: но нет. В прозе лучше». Демонические мотивы и формулы отчасти переходят в повесть о горбуне («Вадим»). В 1833 г. Лермонтов возвращается к прежней редакции и заново ее обрабатывает. Четвертый очерк «Демона» более развернут, но по сюжету и стилю остался тем же. Этим очерком завершается история ранних редакций «Демона». Живя в 1837 г. на Кавказе, Лермонтов познакомился с местными легендами и снова взялся за поэму. Получилась новая редакция (1838): действие перенесено на Кавказ, монахиня заменена грузинской княжной Тамарой, поэма превращена в «восточную повесть», насыщенную описаниями кавказской природы и фольклорным материалом (легенда о горном духе Гуде, влюбленном в красавицу Нино). Эту пятую редакцию Лермонтов считал окончательной: он читал ее разным лицам и собирался печатать. В дневнике Жуковского записано 24 декабря 1839 г.: «Поездка в Петербург с Вьельгорским по железной дороге. Дорогой чтение Демона». Новая высылка на Кавказ остановила вопрос о печата-

нии поэмы. Лермонтов в последний раз обработал текст «Демона» и в 1841 г. привез рукопись в Петербург, думая напечатать ее в «Отечественных записках». Впервые «Демон» был напечатан за границей в 1856 г.

Демон – отверженный ангел, злой дух, искушитель.

Херувим – в религиозных легендах ангел высшего чина.

Раины – пирамидальные тополя.

«Питомец резвый Карабаха» – конь карабахской породы.

Чепрак – ковровая подстилка под седло.

Ланиты – щеки.

Ветрило – парус.

Денница – утренняя заря.

Небожитель – обитатель Неба.

Келья – жилище монаха или монахини.

Власяница – грубая одежда из волос животных.

Аврора – здесь: утренняя заря.

Муэцины, или *муэдзины*, – служители при мусульманских мечетях, возглашающие часы молитв с высоты башен – минаретов.

Эдем – рай.

Сонмище – множество.

Канон – похвала святому.

МЦЫРИ

С. 91

На рукописи есть дата (рукой Лермонтова): «1839 года. Августа 5».

Лермонтов рассказывает о судьбе шестилетнего мальчика-горца, который жил в горах Северного Кавказа и был взят в плен генералом Ермоловым. Возвращаясь в свою резиденцию – Тифлис, Ермолов взял его с собой, но в пути ребенок заболел, и в Грузии, на последней станции Военно-Грузинской дороги, во Мцхете, возле Тифлиса, генерал отдал его на излечение монахам. Так мальчик попал в монастырь, который находится у слияния Арагвы и Куры.

Никто не называл его по имени. Он – мцыри, что по-грузински означает: монастырский прислужник, послушник. Он мусульманской веры, но его окрестили и готовят к пострижению в монахи. Монастырь стал для него тюрьмой. Он бежит, снова попадает в монастырь и умирает – не может жить в неволе

после того, как глотнул воздуха свободы. В этом и заключается основная мысль поэмы. Недаром эпиграфом для «Мцыри» Лермонтов взял библейское изречение, означающее: «Вкушая, вкусил мало меду, и вот я умираю». Под «медом» Лермонтов подразумевает свободу.

Во Мцхете до сих пор сохранился древний грузинский храм Светицховели, где покоится прах последних грузинских царей – Ираклия II и Георгия XII, при котором произошло присоединение Грузии к Российской империи. Об этих надгробиях Лермонтов говорит в первой строфе поэмы. На остроконечной горе над самым слиянием Куры и Арагвы высится старинный монастырь Джвари, или Джварис-сакдари (Монастырь креста), откуда хорошо виден Главный Кавказский хребет. Этот храм нередко называют теперь монастырем Мцыри.

В главе 10-й поэт упоминает о злом духе, низвергнутом в подземную бездну. Это – Амირани, о котором в Грузии до сих пор бытует много легенд.

«Мцыри» представляет собой лирический

монолог, продолжающий традицию «Шильонского узника» Байрона. Этот замысел восходит к юношескому периоду; он последовательно разрабатывался Лермонтовым сначала в «Исповеди» (1829–1830), затем в «Боярине Орше» (1835–1836) и наконец в «Мцыри».

Кадила́ница – сосуд для благовонных курений.

Чадра – женское покрывало, окутывающее лицо и фигуру. Грузинки чадры не носили; Лермонтов имеет в виду *личаки* – вуаль, ниспадающую от венчика, тавсакрави, на распущенные волосы.

Сакля – жилище горца: небольшой домик, сложенный из камней.

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

С. 117

Эпиграф взят из стихотворения немецкого поэта Карла Филиппа Конца (1762–1827):

*Наслаждайся и страдай!
Терпи и смирайся!
Люби, надейся и верь!*

Как и «Черкесы», поэма «Кавказский пленник» представляет собой упражнение в поэзии. Сюжет взят из одноименной поэмы Пушкина, но изменен.

ПОСЛЕДНИЙ СЫН ВОЛЬНОСТИ **С. 141**

Николай Семенович Шеншин (1813–1835), которому посвящена эта поэма, – товарищ Лермонтова по университету.

Эпиграф взят из поэмы Байрона «Гяур»: «Когда такой герой родится снова?» Последние два стиха – цитата из поэмы Оссиана, использованная раньше Пушкиным в «Руслане и Людмиле»:

*Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.*

В 20-х гг. XIX в. вопрос о первоначальном строе Русского государства живо интересовал передовую часть общества. Радикально настроенная молодежь, из которой впоследствии вышли декабристы, идеализируя Новгородскую Русь, пользовалась новгородским материалом для высказывания своих свободлюбивых идей. К. Ф. Рылеев является ярким

выразителем этого литературно-исторического течения.

Лермонтов развивает декабристскую тему. В основе его поэмы лежит летописная легенда о «призвании» варяжских князей и о восстании, поднятом новгородским витязем Вадимом Храбрым против князя Рюрика (863). «Того же лета уби Рюрик Вадима Храброго и иных многих изби новгородцев, советников его», – повествует летопись. Многие места поэмы написаны в стиле Рылеева; в начале есть строки, которые явно относятся не только к новгородцам, но и к декабристам, жившим в изгнании («Но есть поныне горсть людей...» и т. д.). Таким образом, поэма Лермонтова – не только историческая, но и политическая, гражданская. Следует учесть, что слово «славяне» имело у декабристов особый смысл, связанный с понятием «вольности».

САШКА

С. 169

Поэма «Сашка» считалась, по традиции, идущей от редактора П. А. Висковатова, незаконченной; на самом деле она совершенно закончена, что с несомненностью следует из со-

держания последней строфы: «Я кончил... Так! дописана страница» и т. д. Эта «нравственная поэма» задумана как фрагмент или как картина нравов и потому не требует сюжетной развязки. Датировка «Сашки» не установлена, но надо думать, что она была написана в 1839 г., в ней говорится о смерти поэта-декабриста А. И. Одоевского, умершего осенью 1839 г.

Она звалась Варюшею... – Имеется в виду Варвара Александровна Лопухина (1814–1851), кузина Лермонтова и предмет его юношеской трагической любви (В. А. Лопухина в 1835 г. вышла замуж за Н. Ф. Бахметева).

«Сашка» – старое названье! – Имеется в виду известная поэма А. И. Полежаева в списках и устной передаче. За сочинение этой поэмы А. И. Полежаев (в ту пору студент Московского университета) был отдан Николаем I в солдаты.

В строфах 77–80 дан сжатый очерк событий Великой французской революции: казней короля Людовика XVI («венчаный страдалец»), королевы Марии-Антуанетты и поэта Андре Шенье, примыкавшего к лагерю умеренных

республиканцев (Жиронда) и выступавшего в защиту Людовика XVI. Заподозренный в участии в монархическом заговоре, Шенье в 1794 г. был арестован якобинским правительством и гильотинирован накануне падения диктатуры Робеспьера. Имя Шенье в России стало особенно популярно после появления стихотворения Пушкина, посвященного его памяти (1825).

Строфы 116–119, посвященные «модному пансиону» и «светлому храму науки», имеют, несомненно, автобиографическое значение: в 1828 г. Лермонтов был отдан в Московский университетский благородный пансион, а в 1830 г. вступил в число слушателей Московского университета.

АШИК-КЕРИБ

С. 227

История скитаний Ашик-Кериба широко распространена среди народов Закавказья. Лермонтовский «Ашик-Кериб» напоминает сказку, записанную в одном из районов Грузии. Возможно, поэт услышал ее в Тифлисе. Но в том, что ему рассказывал ее азербайджанец, нет никакого сомнения: в тексте Лермон-

това сохранился целый ряд азербайджанских слов: «ага» (господин), «ана» (мать), «оглан» (юноша), «рашид» (храбрый), «сааз» (балалайка), «мисирское» (т. е. египетское) вино, а в наименовании Тифлиса воспроизведено азербайджанское произношение: «Тифлиз».

Слово «ашик» по-азербайджански значит «влюбленный». Но это слово имеет и другой смысл: «певец», «поэт». А «кериб» значит «странник», «скиталец», «бедняк». Но Кериб – это и собственное имя. После смерти Лермонтова рукопись была обнаружена в его бумагах.

...Прославляя древних витязей Туркестана... – Туркестаном назывались в прежнее время территории нынешних среднеазиатских государств. Но в данном тексте это слово надо понимать как «страна турок» по аналогии с «Дагестан», «Гюрджистан» (Грузия), «Ай-астан» (Армения)... «Стан» – в буквальном смысле «стоянка».

Халаф (Халап, Халеп или, как его еще называют, Алеппо) – название города в Сирии.

Паша – высший сановник в Турции.

Чауш – младший чин в турецкой армии.

Керван – караван.

Караван-сарай – торговое подворье на Востоке, постоянный двор со складом для товаров.

Арзинган-гора находится вблизи города Эрзинджана.

Арзиньян (Эрзинга, Эрзинджан) – город в Турции.

Арзерум, или *Эрзрум*, – город, находящийся ныне на территории Турции.

Минареты – башни около мечетей, с которых муэдзины призывают правоверных мусульман на молитву.

Карс – город, находящийся ныне на территории Турции.

«*Селям алейкюм*» (или «*салям алей кум*») – мусульманское приветствие; дословно: «Мир над вами».



Примечания

Покрывало. (Примеч. М. Ю. Лермонтова.)

[^^^]

Вроде волынки. (*Примеч. М. Ю. Лермонтова.*)

[^^^]

3

Верхняя одежда с откидными рукавами. (*Примеч. М. Ю. Лермонтова.*)

[^^^]

4

Стремена у грузин вродѣ башмаков из звонко-
го металла. (*Примеч. М. Ю. Лермонтова.*)

[^^^]

5

Шапка, вроде ериванки. (*Примеч. М. Ю. Лермонтова.*)

[^^^]

Ч и н г а р – род гитары. (*Примеч. М. Ю. Лермонтова.*)

[^^^]

М ц ы р и – на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «послушника». (Примеч. М. Ю. Лермонтова.)

[^^^]

8

Наслаждайся и страдай!
Терпи и смиряйся!
Люби, надейся и верь!
Конц (нем.)

[^^^]

Когда такой герой родится снова? Гяур. Байрон (*англ.*).

[^^^]

10

Сказание седых времен!..

Деянья прежних лет и дней!.. (англ.)

[^^^]

Маркиз де Тесс (*фр.*).

[^^^]

Сударь, это мое дело (*фр.*).

[^^^]

«Ну, сударь, что я вижу?» – «Ах, это вы!»

«Что это за шум? Что вы делаете?» – «Я (...)!»
(фр.)

[^^^]

Здесь и далее курсив В. Г. Белинского. – *Ред.*

[^^^]

Следовательно (лат.) – *Ред.*

[^^^]